Митч Элбом

Искорка надежды

Трогательная, теплая история о том, что вера всегда побеждает сомнения, а жизнь сильнее смерти!

Книга о вере, надежде и любви

MITCH ALBOM

– Have a Little Faith –

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга, которая возглавила список бестселлеров «Нью-Йорк таймс» и была избрана книгой года Клубом Опры Уинфри.

Книга, о которой сам Митч Элбом сказал: «Это самое важное, что я написал!»

Книга о вере, надежде и любви. О понимании и дружбе. О том, как выжить даже в самые трудные времена, прощая, помогая ближним, веря в добро и сохраняя достоинство.

- Митч Элбом
  -
  - ОТ АВТОРА
  - ВНАЧАЛЕ
  - ВЕСНА
    -
    - Март
    - Апрель
    - Май
  - ЛЕТО
    -
    - Июнь
    - Июль
    - Август
  - ОСЕНЬ
    -
    - Сентябрь
    - Октябрь
    - Ноябрь
  - ЗИМА
    -
    - Декабрь
    -
    -
    - Январь
    - Февраль
  - ЭПИЛОГ
  - БЛАГОДАРНОСТИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27

Митч Элбом
Искорка надежды

Посвящаю эту книгу моему отцу Айре Элбому,
которого я всегда бесконечно уважал

Митч Элбом — писатель, которого знает весь мир. Его книги «Вторник с Морри», «Пятеро, что ждут тебя на небесах»? «Ради нового дня» и «Искорка надежды» читают более чем в 40 странах. Они переведены на 42 языка, а их тираж превысил 28 миллионов экземпляров!

Эту книгу должны прочесть ВСЕ — молодые и старые, мужчины и женщины, верующие и атеисты!

«People»

Книга, способная подарить надежду каждому человеку!

«Publishers Weekly»

Искренняя, обаятельная книга! Она заставила меня по-новому взглянуть на свою жизнь!

Трогательная, теплая история о том, что вера всегда побеждает сомнения, а жизнь сильнее смерти!

Бессмертная история, которая заставляет нас понять: в мире есть нечто большее, чем материальные ценности!

Отзывы с Amazon.com

ОТ АВТОРА

Этой истории восемь лет. И появилась на свет она благодаря двум уникальным людям — Альберту Льюису и Генри Ковингтону, — поведавшим мне о своей жизни в мельчайших подробностях, а также их родным, детям и внукам, которым автор выражает глубокую благодарность. Все наши встречи и беседы подлинны, хотя для плавности повествования я порой сдвигал временные рамки и, скажем, беседу в октябре одного года переносил на ноябрь следующего.

Несмотря на то что эта книга о вере, автор никоим образом не выдает себя за специалиста в области религии, и книга эта ни в коей мере не является религиозным руководством. Скорее эта история написана в надежде, что люди самых разных вероисповеданий найдут в ней то, что может их объединить.

Обложка этой книги напоминает старый, перетянутый резинками молитвенник Альберта Льюиса[1].

Следуя традиции отдавать десятину, автор пожертвует десятую часть своей прибыли от продажи каждой книги благотворительным организациям, включая упомянутые в этой истории церковь, синагогу и приют для бездомных.

Автор также благодарит своих прежних читателей и будет необычайно рад, если у его историй появятся новые.

ВНАЧАЛЕ

Вначале был вопрос.

— Ты не мог бы сказать прощальную речь на моих похоронах?

— Что?! — спросил я.

— Прощальную речь, — повторил старик, — когда я умру.

Он стоял передо мной, слегка сутулясь. Его седая борода была аккуратно подстрижена, а глаза за стеклами очков беспрестанно моргали.

— Вы умираете? — спросил я.

— Пока еще нет, — усмехнувшись, сказал он.

— А почему тогда?..

— Я просто думаю, что у тебя это хорошо получится. И еще мне кажется, что когда это случится, ты найдешь нужные слова.

Представьте себе самого праведного человека из всех, кого вы знаете, — вашего священника, пастора, раввина, имама. А теперь вообразите, что он похлопывает вас по плечу и просит после его смерти попрощаться со всеми от его имени.

Подумайте только, что тот, кто провожает людей на небеса, просит вас проводить туда его самого.

— Ну что? — спросил он. — Ты с этим справишься?

Вначале был и другой вопрос:

— Иисус, Ты спасешь меня?

В руках у человека был дробовик. Он прятался за мусорными баками, что стояли перед многоквартирным домом в Бруклине. Была поздняя ночь. Его жена и грудная дочурка плакали. Он следил за приближавшимися к дому машинами, в каждой следующей ожидая своих убийц.

— Иисус, Ты спасешь меня? — спросил он, дрожа. — Если я пообещаю посвятить свою жизнь Тебе, Ты сегодня спасешь меня?

Представьте себе самого праведного человека из всех, кого вы знаете — вашего священника, пастора, раввина, имама. А теперь вообразите его в замызганной одежде, с дробовиком в руках, молящим о спасении из-за мусорных баков.

Представьте, что тот, кто провожает людей на небеса, молит, чтобы его не отправили в ад.

— Пожалуйста, Господи… — шепчет он. — Если я пообещаю…

Эта история о вере и о двух совершенно непохожих друг на друга людях, которые показали мне дорогу к храму. Я писал ее

довольно долго. Я ездил в церкви и синагоги, в города и пригороды, к «своим» и «чужим», размышляя над тем, что разделяет людей разных вероисповеданий.

И в конце концов я вернулся домой, в переполненную людьми молельную комнату, к сосновому гробу и опустевшей кафедре проповедника. Вначале был вопрос.

Он же стал и последней просьбой:

— Ты не мог бы сказать прощальную речь на моих похоронах?

И как это нередко случается, когда затрагивается вопрос веры, я думал, что у меня просят одолжения, а на самом деле одолжение сделали мне.

ВЕСНА

1965 год…

…в субботу утром отец высаживает меня из машины возле синагоги и говорит:

— Ты должен пойти на службу.

Мне семь лет, и оттого что я еще маленький, мне и в голову не приходит спросить: почему я должен идти на службу, а сам он не идет? Вместо этого я послушно вхожу в синагогу, иду по длинному коридору и поворачиваю за угол к маленькой молельной комнате, где проходит служба для детей.

На мне белая с короткими рукавами рубашка и галстук на резинке. Я толкаю деревянную дверь. В комнате на палу расположились малыши, Рядам позевывают мальчишки-третьеклассники. А возле них девочки из шестого — в черных хлопчатобумажных брючках в обтяжку, — эти, прильнув друг к другу, о чем-то шепчутся.

Я беру молитвенник. В задних рядах уже ни одного свободного места, и я сажусь впереди. Вдруг распахивается дверь, и все мгновенно смолкают.

На пороге появляется Божий человек. Он гордо, словно гигант, шествует по комнате. У него густые темные волосы. На нем длинная мантия, которая плещется, точно полотно на ветру; когда он говорит, размахивая при этом руками.

Он рассказывает нам историю из Библии. Он задает нам вопросы. Он широким шагом пересекает сцену. Он подходит ко мне все ближе и ближе. Меня обдает жаркой волной. Я молю Бога, чтобы Он сделал меня невидимкой. Прошу тебя, Господи, пожалуйста!

Это моя самая страстная молитва за весь день.

Март

ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ ПОБЕГОВ

Адам прятался в саду Эдема. Моисей пытался уговорить Бога, чтобы тот заменил его братом — Аароном. Иона прыгнул с корабля, и его проглотил кит.

Людям свойственно скрываться от Бога. Такова традиция. Поэтому, наверное, я, следуя ей, стал убегать от Альберта Льюиса, как только научился ходить. Он, конечно, не был Богом, но для меня он был почти Бог, праведник, человек в мантии, великий человек, главный раввин нашей синагоги. Мои родители стали ее членами, когда я был младенцем. Он читал проповеди, а я слушал их, поначалу сидя на коленях у матери.

И все же, когда я вдруг осознал, кто он такой, — а он стал для меня Божьим человеком, — я бросался бежать. Стоило мне увидеть, как он шагает по коридору, и я пускался наутек. Если мне надо было пройти мимо его кабинета — я пробегал стрелой. Даже когда я стал подростком, стоило мне заприметить его вдалеке, как я тут же старался от него скрыться. Он был высокого роста — шесть футов и дюйм, и в его присутствии я казался себе лилипутом. Когда он смотрел на меня сквозь свои очки в черной роговой оправе, мне чудилось, что он видит все мои пороки и прегрешения.

И я убегал.

Я бежал и бежал, пока не скрывался у него из виду.

Я вспоминал об этом, приближаясь к его дому весенним утром 2000 года, после только что стихшей грозы. Несколько недель назад, когда я выступил в синагоге с речью, восьмидесятидвухлетний Альберт Льюис обратился ко мне с той самой странной просьбой:

— Ты не мог бы сказать прощальную речь на моих похоронах?

Я замер как вкопанный. Никто никогда не обращался ко мне с подобной просьбой. Не то что религиозный лидер, а вообще никто и никогда. Вокруг сновали люди, а он стоял и смотрел на меня, премило улыбаясь, словно обратился ко мне с самой обыденной просьбой.

— Мне надо об этом подумать, — выпалил я наконец.

Прошло несколько дней, и я ему позвонил.

— Хорошо, — сказал я. — Я уважу вашу просьбу и выступлю

на ваших похоронах, но только с тем условием, что вы позволите мне познакомиться с вами поближе, чтобы мне было о чем говорить. Мы с вами должны хотя бы несколько раз встретиться.

— Согласен, — отозвался он.

И вот теперь я сворачиваю на его улицу.

К тому времени я знал об Альберте Льюисе лишь то, что зритель обычно знает об актере: как он держится перед публикой, как говорит, завораживая конгрегацию своим внушительным голосом и взметающимися в воздух руками. Конечно, в прошлом мы знали друг друга несколько ближе. В детстве он был моим учителем, участвовал в наших семейных делах: венчал мою сестру и вел богослужение, когда умерла моя бабушка. Но я с ним не общался уже лет двадцать пять.

К тому же что нам известно о наших религиозных лидерах? Мы их слушаем. Мы их уважаем. Но что мы знаем о них как о людях? Альберт Льюис был от меня далек, — он был для меня кем-то вроде королевской особы. Я никогда не обедал у него дома. И никогда близко с ним не общался. Если ему и свойственны были человеческие слабости, я их не замечал. И о его привычках тоже не имел никакого представления.

Нет, пожалуй, это неправда. Я знал об одной из них. Он любил петь. Об этом в нашей синагоге знали все. Во время проповеди любую фразу он мог обратить в арию. Беседуя, он мог пропеть любые существительные и любые глаголы. Он был настоящим человеком-оркестром.

Стоило раввина в его преклонные годы спросить, как он поживает, и у глаз его тут же появлялись морщинки, он поднимал дирижерским жестом палец и тихонько запевал:

Седой старик раввин
Уже не тот, что был,
Уже не тот, что прежде…

Я нажал на тормоза. Во что я ввязываюсь? Я ведь для этого дела совершенно не гожусь. Я уже человек неверующий. Я в этих краях не живу. И на похоронах всегда говорит он, а не я. Кто должен произнести прощальную речь о человеке, который сам всегда говорил прощальные речи? Мне захотелось придумать какую-нибудь отговорку, развернуться и уехать.

Люди любят убегать от Бога.

А меня отправили в противоположном направлении.

Я прошел по дорожке и встал на усыпанный листьями и травой коврик. Позвонил в дверь. Даже это мне показалось странным. Наверное, я не предполагал, что у праведных людей есть дверные звонки. Оглядываясь назад, я не очень-то понимаю, чего, собственно, я ожидал. Это был обычный дом. Где еще он мог жить? В пещере?

Но если я не ожидал увидеть дверной звонок, то еще больше меня удивил облик этого человека, который на этот звонок отозвался. На нем были длинные шорты, рубашка с короткими рукавами и навыпуск, носки и сандалии. Я ни разу в жизни не видел Рэба ни в чем, кроме костюма или длинной мантии. Рэбом мы называли его, будучи подростками. Мы считали его суперменом. Скалой. Громадиной. Рэбом. Как я уже упоминал, в те времена он поражал нас своей внешностью: высокий, серьезный, широкоскулый, с густыми бровями и огромной копной темных волос.

— Здра-а-вствуйте, молодой человек, — весело пропел он.

— Здравствуйте, — стараясь не глазеть на него, ответил я.

Вблизи Льюис выглядел худым и хрупким. Его обнаженные до локтя руки, которые я видел впервые, казались тонкими, дряблыми и были покрыты пигментными пятнами. На носу у него восседали громоздкие очки, и он то и дело моргал, точно старик ученый, который, одеваясь, никак не может сосредоточиться.

— За-а-а-ходите, — пропел он. — Entr-e-ez![2]

В палитре его расчесанных на пробор волос обычная седина перемежалась с белоснежной, а его седеющая вандейковская бородка была довольно аккуратно подстрижена, хотя кое-где и недобрита. Он поплелся по коридору, а я, не преминув заметить его тощие ноги, последовал за ним, стараясь идти как можно медленнее, чтобы на него не наткнуться.

Как же мне описать то, что я в тот день почувствовал? Впоследствии я обнаружил в Книге пророка Исайи отрывок, в котором Бог заявляет:

> Мысли мои — не ваши мысли.
> И пути ваши — не мои пути.
> Как небеса выше земли,
> Так и пути мои выше ваших путей,
> И мысли мои выше мыслей ваших.

Именно так я и *ожидал* себя почувствовать — ниже,

ничтожнее. Он для меня был Божьим посланником. Я ведь должен был смотреть на него с благоговением, верно?

Вместо этого я тащился за стариком в носках и сандалиях и думал только об одном: до чего нелепо он выглядит.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Я должен рассказать вам, почему мне хотелось увильнуть от этой прощальной речи, и объяснить, каково было мое отношение к религии, когда началась вся эта история. По правде говоря, отношения к религии у меня не было никакого. Вы, возможно, знаете, что христианство говорит о падших ангелах; а Коран упоминает духа Иблиса, изгнанного с небес за отказ поклониться Божьему созданию.

Здесь же, на Земле, падение не носит столь драматичного характера. Ты, потихоньку дрейфуя, постепенно удаляешься прочь.

Я знаю, как такое происходит. Именно это и случилось со мной.

О, я мог стать верующим. Шансов у меня было миллион, начиная с того времени, когда я жил в предместье в штате Нью-Джерси, учился в средней школе. Родители записали меня в религиозную школу Рэба, куда я ходил три раза в неделю. А я, вместо того чтобы использовать предоставленную мне возможность, тащился туда, как на каторгу. По дороге в школу, сидя в пикапе рядом с соседскими, такими же как я, еврейскими детьми, я жадно глазел из окна на своих христианских приятелей, гонявших по улице мяч, и горько недоумевал: «За что *мне* такое наказание?» Учителя на уроках раздавали подсоленные кренделя, а я, слизывая с них соль, мечтал лишь об одном — скорее бы прозвенел звонок.

К тринадцати годам, — опять же по настоянию моих родителей, — я не только прошел положенную подготовку к бар-мицве[3], но и научился правильному пению текста Торы — Пятикнижия Моисея, — Священного Писания, включенного также в Ветхий Завет. Меня даже вызывали читать Тору во время утренней субботней службы. В своем единственном костюме (разумеется, темно-синего цвета) я взбирался на деревянную подставку, чтобы лучше видеть текст на пергаменте, а Рэб стоял в двух шагах от меня, наблюдая за моим чтением. Я мог подойти к нему после службы, поговорить, обсудить отдельные тексты Торы. Но я ни разу этого не сделал. Я подходил к нему после службы пожать руку и тут же бежал к отцовской машине, — домой,

поскорее домой.

В старших классах, — тоже по настоянию моих родителей, — я учился в частной школе, где полдня проходило в академических занятиях, а остальное время — в религиозных. Наряду с алгеброй и европейской историей я изучал Книги Исхода, Второзакония, Книгу Царей и Книгу притчей Соломоновых и читал их на языке оригинала. Я писал эссе о Ноевом ковчеге и манне небесной, о Каббале и стенах Иерихона. Меня даже обучили арамейскому, чтобы я мог читать комментарии к Талмуду; и я анализировал комментарии ученых одиннадцатого и двенадцатого веков, таких как Раши и Маймонид.

Когда пришла пора выбирать колледж, я поступил в Брандейский университет, где училось множество еврейских студентов. Чтобы хоть частично оплатить свою учебу, я работал с молодежными группами синагоги в пригородах Бостона.

Иными словами, к тому времени, как я окончил университет и вступил во взрослый мир, я знал о своей религии ничуть не меньше любого другого из моих светских друзей и знакомых.

А потом?

Потом я в общем-то отошел от религии.

Это не был бунт. Или трагическая потеря веры. Если говорить по-честному, это была апатия. И отсутствие необходимости. Моя карьера спортивного журналиста процветала, — все мое время занимала работа. По субботам утром я ездил на футбольные игры в колледжи, в воскресенья — на игры профессионалов. На религиозные службы я не ходил. У кого на это есть время? Я был в полном порядке. Я был здоров. Я хорошо зарабатывал. Я поднимался по служебной лестнице. У меня не было особой нужды просить о чем-либо Бога, и я решил, что, поскольку никому не наношу вреда, Богу от меня тоже нечего требовать. У нас сложились отношения по формуле: «Ты иди своей дорогой, а я пойду своей» — по крайней мере так казалось мне. Я не соблюдал никаких религиозных традиций и ритуалов. Я встречался с девушками самых разных вероисповеданий. Я женился на красивой темноволосой женщине; половина членов ее семьи была родом из Ливана. Каждый год в декабре я покупал ей на Рождество подарки. Наши друзья надо мной подтрунивали: еврейский парень женился на арабской христианке. Дай Бог тебе удачи!

Со временем у меня развилось своего рода циничное отношение к открытой набожности. Люди, одержимые Святым Духом, меня пугали. А благочестивое лицемерие, которое я наблюдал в политике и спорте, — скажем, конгрессменов,

которые шествовали от любовниц прямо в церковь, или спортивных тренеров, что, нарушив правила, тут же ставили всю команду на колени для молитвы, — отвращало от религии еще больше. К тому же евреи в Америке, как, впрочем, и глубоко верующие христиане, мусульмане и индусы, часто помалкивают о своей вере, потому что неизвестно, на кого можно нарваться.

Так вот, я тоже помалкивал.

На самом деле единственной тлеющей искрой моего прошлого религиозного опыта оставалась та самая синагога моего детства в Нью-Джерси. По какой-то непонятной причине я не перешел ни в какую другую. Даже не знаю почему. Притом что я жил в Мичигане — в шестистах милях от этой синагоги, — мое решение было довольно нелепым.

Я мог бы найти место и поближе.

Вместо этого я держался за старое; я каждую осень на Великие Праздники летал домой и стоял в синагоге рядом с отцом и матерью. Может быть, я отказывался от перемены из-за упрямства. А возможно, просто избегал лишних хлопот, ведь для меня это не было чем-то важным. Но как непредвиденное последствие моего бездействия в моей судьбе незаметным образом нечто осталось неизменным: со дня моего рождения и по сей день в моей жизни был только один-единственный служитель Богу.

Альберт Льюис.

И у него была только одна конгрегация.

Мы оба были однолюбами.

И, как мне казалось, кроме этого, нас ничто больше не объединяло.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

В то самое время, когда я жил и рос в пригороде, другой мальчик, почти что мой ровесник, жил и рос в Бруклине. Позднее ему тоже предстояло разобраться в вопросах веры. Но его путь был совсем иным.

Ребенком он спал в компании крыс.

У Вилли и Вильмы Ковингтон было семеро детей, и Генри Ковингтон оказался у них предпоследним по счету. Ковингтоны жили в крохотной, тесной квартирке на Уоррен-стрит. Четыре брата спали в одной комнатенке, три сестры — в другой.

Кухня принадлежала крысам.

Семья оставляла на ночь на кухонном столе миску с рисом, чтобы заманить в нее крыс, и тогда они не лезли в спальни. Днем

самый старший брат Генри оборонялся от крыс духовым ружьем. Генри же боялся этих тварей до смерти и ночи напролет ворочался от страха.

Мать Генри была домработницей, — она прислуживала в основном в еврейских семьях, — а отец — пройдохой. Высокий, крепкий мужчина и большой любитель пения. У него был приятный голос — вроде как у Отиса Рединга[4]. В пятницу вечером он обычно брился перед зеркалом и тихонько напевал «Длинноногую женщину», а его жена, прекрасно понимавшая, куда он собирается, закипала от гнева. И начинались яростные, крикливые ссоры.

Когда Генри было пять лет, во время одной из таких пьяных перебранок его родители с воплями и руганью выкатились на улицу. Вильма с двадцатидвухкалиберным ружьем в руках грозилась пристрелить мужа. Не успела она взвести курок, как к ней с криком «Миссис, не делайте этого!» подскочил прохожий.

Пуля прострелила ему руку.

Вильму посадили в Бедфорд-Хиллс — женскую тюрьму строгого режима. На два года. По выходным отец и Генри ходили ее навещать. Разговаривали они через стекло.

— Ты по мне скучаешь? — спрашивала Вильма у Генри.

— Да, мама, — отвечал Генри.

В те годы Генри был совсем тощим; чтобы он хоть немного поправился, его кормили специальной смесью для прибавления веса. По воскресеньям он ходил в соседнюю баптистскую церковь, пастор которой приводил детей к себе домой и угощал мороженым. Генри это нравилось. Для него это было введением в христианство. Пастор говорил об Иисусе и Боге-отце, а Генри рассматривал картинки, изображавшие Иисуса, и пытался представить себе Бога. Он казался Генри гигантским темным облаком с нечеловеческими глазами. И короной на голове.

Ночью Генри молил облако не пускать к нему крыс.

ПАПКА С НАДПИСЬЮ «БОГ»

Рэб повел меня в свой кабинет, и я решил, что начинать разговор с упоминания о «прощальной речи» так же неловко, как, едва представившись врачу, начать раздеваться. Как можно вступить в разговор с фразы: «Так что бы вам хотелось, чтобы я сказал, когда вы умрете?»

Я попытался завести с Рэбом светскую беседу. О погоде. О нашем предместье. Мы совершали тур по комнате. Полки в ней ломились от книг и папок. Рабочий стол был завален письмами и

заметками. Повсюду стояли открытые коробки. Рэб, видно, что-то заново просматривал и приводил в порядок, или уж и не знаю, что он со всем этим делал.

— Такое ощущение, будто я почти не помню того, что происходило в моей жизни, — сказал вдруг он.

— Для того чтобы все это пересмотреть, понадобится, наверное, еще одна жизнь.

— Ха! Точно подмечено! — рассмеялся Рэб.

В том, что я его рассмешил, было нечто приятное, но одновременно и неуважительное. Вблизи он вовсе не был тем рослым, крепким человеком, которого я помнил с детства, таким огромным мужчиной, каким он казался с моего места в молельном зале.

Теперь, когда я стоял рядом с ним, он оказался ниже ростом. И выглядел более хрупким. К старости он как будто скукожился. Щеки его обвисли, и хотя в его улыбке по-прежнему сквозила уверенность в себе, а глаза светились умом и мудростью, передвигался он необычайно осторожно, словно боялся упасть. Он точно шел рука об руку со своей старостью. Мне захотелось спросить его: «Сколько же вам осталось жить?»

Вместо этого я задал вопрос о папках.

— О, в них всевозможные истории, идеи для проповедей, — ответил он. — Я делаю вырезки из газет и журналов. — Он усмехнулся: — Собираю вырезки о «Янкис»[5].

Я заметил папку с надписью «Старость». И еще одну, огромную, с надписью «Бог».

— У вас в ней материалы о Боге? — спросил я.

— Да. Пожалуйста, подвинь-ка ее поближе.

Я встал на цыпочки и осторожно, чтобы не сбросить остальные папки, вытянул ту, на которой была надпись «Бог». Затем положил ее на нижнюю полку.

— Поближе, мой Господь, к тебе, — пропел Рэб.

Наконец мы сели. Я открыл блокнот. С годами благодаря журналистской практике зеленый свет семафора включался во мне, как по команде; и Рэб, заморгав, понимающе кивнул — ясно, теперь мы переходим к формальной части. Он расположился в кресле с низкой спинкой и на колесиках. В нем можно было подкатываться к письменному столу и книжным полкам. Я же сел в зеленое кожаное кресло — на мой вкус, слишком уж мягкое. Я, точно маленький мальчик, провалился в него.

— Тебе удобно? — спросил Рэб.

— Удобно, — солгал я.

— Хочешь поесть?

— Нет, спасибо.

— Выпить?

— Спасибо, не хочется.

— Хорошо, — сказал он.

Хорошо так хорошо.

Первого вопроса я не заготовил. С чего же я должен начать? С чего начинают подводить итоги жизни? Я бросил взгляд на папку с надписью «Бог», которая меня, честно говоря, заинтриговала. Что же в ней все-таки было? И вдруг выпалил самый очевидный вопрос к человеку в мантии:

— Вы верите в Бога?

— Да, верю.

Я нацарапал его ответ в блокноте.

— Вы когда-нибудь говорите с Богом?

— Постоянно.

— Что же вы Ему говорите?

— В последнее время? — Рэб вздохнул, а потом чуть ли не пропел: — В последнее время я говорю: «Господи, я знаю, что мы скоро увидимся. И у нас будут приятные беседы. Но пока что, Господи, если уж Ты решил меня забра-ать, забирай немедля. А если Ты решил меня здесь оста-авить… — Рэб развел руки и возвел глаза к потолку. — Дай мне силы сделать то, что необходимо».

Рэб всплеснул руками. Пожал плечами. Впервые в жизни он говорил о своей смерти. И меня вдруг осенило, что я дал согласие не просто на прощальную речь. Теперь каждый вопрос, заданный мной этому старику, будет тем самым вопросом, который я никогда прежде не решался задать самому себе.

— О чем же мне говорить, когда вы умрете?

— Эх, — вздохнул раввин и снова уставился в потолок.

— Так что? Бог вам отвечает?

Рэб улыбнулся.

— Все еще жду ответа, — проговорил он.

ГОД 1966-й…

…К нам приехала погостить бабушка. Мы пообедали и убираем со стола посуду.

— Сегодня йорцайт[6], — говорит она матери.

— Там в буфете, — отвечает мать.

Бабушка низкорослая и полная. Она идет к буфету, но с ее ростом до верхней полки никак не дотянуться.

— А ну-ка подпрыгни, — говорит она мне.

Я подпрыгиваю.

— Видишь там свечу?

На верхней полке маленький стеклянный стаканчик с воском. Из его середины торчит фитилек.

— Эта?

— Эта. Ты осторожнее.

— А для чего она?

— Для твоего дедушки.

Я спускаюсь на пол. Я никогда не видел своего деда. Однажды он чинил раковину в летнем домике, и у него вдруг случился сердечный приступ. Ему было сорок два.

— Это была его свеча? — спрашиваю я.

Мать опускает руку мне на плечо.

— Мы зажигаем свечу в память о нем. Иди играй.

Я выхожу из комнаты, но тут же потихоньку возвращаюсь подглядеть и вижу, как мать и бабушка, стоя возле свечи, бормочут молитву.

Когда они поднимаются наверх, я возвращаюсь в кухню. Свет в ней погашен, но пламя свечи освещает столик, раковину и край холодильника. Я еще не знаю, что это религиозный ритуал. Мне это кажется волшебством. Я думаю: а что, если мой дедушка там? Что, если он — крохотный огонек, один-одинешенек в этой кухне, запертый в стеклянном стаканчике?..

Я ни за что не хочу умирать.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Генри впервые в жизни признал Иисуса своим Спасителем, когда ему было десять, в маленьком библейском летнем лагере в окрестностях Биверкиля, в штате Нью-Йорк. Для Генри этот лагерь был отдушиной — две недели вдали от грохота машин и бруклинского хаоса. В лагере дети играли на свежем воздухе, гонялись за лягушками, собирали листья мяты и, промыв их водой, сушили на солнце. А по вечерам вожатые, добавив сахар, заваривали из них чай.

Как-то вечером хорошенькая светлокожая вожатая спросила Генри, не хочет ли он вместе с ней помолиться. Вожатой было лет семнадцать. Стройная, с деликатными манерами, в коричневой юбке, белой с оборкой блузке, она завязывала волосы конским хвостиком и казалась Генри такой красивой, что от ее слов он потерял дар речи.

— Хочу, — проговорил он наконец. — Хочу с тобой помолиться.

Они вышли из домика.

— Тебя зовут Генри, и ты — Божье дитя.

— Меня зовут Генри, — повторил он. — И я Божье дитя.

— Ты хочешь признать Иисуса Христа своим Спасителем? — спросила она.

— Хочу, — ответил он.

Она взяла его за руку.

— Ты признаешься в своих грехах?

— Признаюсь.

— Ты хочешь, чтобы Иисус простил твои грехи?

— Да.

Она приблизила свое лицо к лицу Генри.

— Ты просишь Иисуса войти в твою жизнь?

— Да, — прошептал Генри.

На дворе было тепло. Предзакатное небо порозовело. Генри ощутил мягкую кожу ее лба. Девушка сжала его руку в своей. Ее молитвенный шепот звучал у самого его уха. Это было истинное спасение. И он принял его всей душой.

На следующий день его приятель раздобыл духовое ружье, и они принялись стрелять в лягушек, стараясь прикончить каждую из них наверняка.

Апрель

ДОМ МИРА

Я неторопливо вел машину под шум легкого весеннего дождя. Я ехал на вторую встречу. Я попросил Рэба, чтобы мы могли увидеться с ним на службе, поскольку для прощальной речи мне нужно было знать, как он исполняет свой долг, верно?

Проезжая по знакомым с детства пригородам Нью-Джерси, я испытывал какое-то странное чувство. В те времена это было провинциальное предместье, где селились люди среднего класса, — отцы работали, жены готовили обед, звонили церковные колокола, — а я не чаял оттуда вырваться. После одиннадцатого класса поступил в университет в окрестностях Бостона, потом перебрался в Европу, оттуда в Нью-Йорк и больше никогда здесь не жил. Эти места казались слишком жалкими для моих жизненных устремлений. Оставаться здесь — все равно что всю жизнь носить школьную форму. Я мечтал о путешествиях, о том, чтобы поселиться в иностранных городах и дружить с жителями других стран. Как-то раз я услышал выражение «гражданин мира». И я хотел стать «гражданином мира».

И вот теперь я — мне едва перевалило за сорок — вернулся в свой родной город. Проезжая мимо продуктового магазина, я увидел в витрине рекламу «Лед с сиропом». Детьми мы очень любили этот лед с вишневым или лимонным сиропом — десять центов за маленький стаканчик, двадцать пять — за большой. Такого лакомства я больше нигде и никогда не видел. Из магазина вышел мужчина, лизавший лед из стаканчика; и я вдруг подумал: интересно, как бы обернулась моя жизнь, если бы я остался в этом предместье и, уже будучи взрослым, лизал лед из стаканчика?

Я тут же отбросил эту мысль. Я приехал сюда по делу. Для прощальной речи. Я сделаю свое дело и вернусь домой.

Парковка была почти пуста. Я подошел к дверям синагоги с высокой застекленной аркой над входом, но ностальгии не почувствовал. Это не был молельный дом моей юности. Наша синагога Темпл Бейт Шолом, — что означает Дом Мира, — разделив судьбу множества церквей и синагог, перебралась на новое место. С годами она разрослась и вслед за своими прихожанами переехала в более богатый район пригорода. Когда-то я думал, что молельные дома, подобно горам, никогда не

меняют ни форму, ни местоположение. Однако на самом деле многие из них следуют за своими прихожанами. Их строят и перестраивают. Наша, например, из старого викторианского дома в жилом квартале города перебралась в обширное сооружение о просторным вестибюлем, девятнадцатью классными комнатами и кабинетами. А в ее коридоре на стене теперь висели портреты тех, на чьи пожертвования нее это было построено.

Лично мне больше по душе был тесный дом, куда я ходил в детстве и юности и где — стоило зайти в него с заднего входа — из кухни доносились запахи съестного. В том доме мне знаком был каждый уголок, включая кладовку, где мы без конца друг от друга прятались.

Однажды я скрывался там от Рэба.

Но разве хоть что-нибудь в жизни остается неизменным?

Рэб; уже ждал меня в вестибюле. На нот раз на нем была рубашка с воротничком и спортивная куртка. Он приветствовал меня персональной переработкой хора из «Хэллоу, Долли»:

Привет, мой друг Митчелл,
Привет, мой друг Митчелл,
Как это славно.
Что ты опять и родном краю…

Я натянуто улыбнулся. Интересно: сколько я смогу выдержать эти музыкальные представлении?

Я спросил, как он себя чувствует. Рэб скатал, что иногда у него кружится голова. Я поинтересовался, насколько по серьезно.

Он пожал плечами.

— Скажу тебе так, — начал он: — Седой старик раввин…

— Уже не тот, что был, — докончил я.

— А?

Мне стало не по себе. Зачем я его прервал? Почему я такой нетерпеливый?

Мы зашагали по коридору к его кабинету. Рэб уже считался почти пенсионером и мог теперь работать когда хотел и сколько хотел. А иногда мог оставаться и дома, — никто не возражал.

Но религия зиждется на ритуалах, а Рэб любил ритуал хождения на службу. Он вырастил эту конгрегацию: а 1948 году в ней было всего несколько дюжин семей, теперь этих семей — больше тысячи. Мне даже показалось, что для Рэба это место стало чересчур большим. Слишком много было людей, которых он лично не знал. Появилось еще два раввина: один — главный, другой — его ассистент. Они теперь занимались повседневными

делами. Когда Рэб впервые тут появился, о помощниках смешно было и мечтать. Рэб носил с собой ключи от синагоги и сам отпирал се и запирал.

— Посмотри, — Рэб указал на стопку нарядно обернутых подарков, сложенных в дверном проходе.

— Что это? — спросил я.

— Комната для невест. Они здесь переодеваются перед свадьбой.

Он провел взглядом по стопке подарков и улыбнулся:

— Прекрасна, правда?

— Прекрасна? Кто?

— Жизнь, — ответил он.

ГОД 1967-й…

…и дома украшены к Рождеству. Почти все наши соседи — католики. Однажды утром после снегопада мы с приятелем, в куртках с капюшонами и резиновых сапогах, идем в школу. Мы проходим мимо маленького дома, на лужайке которого стоят фигуры персонажей из сцены рождения Иисуса.

Мы останавливаемся. Разглядываем фигуры. Мудрые старцы. Животные.

— Этот вот Иисус? — спрашиваю я.

— Какой этот?

— Тот, что стоит. С короной.

— Я думаю, это его отец.

— А Иисус — это тот, другой?

— Иисус — младенец.

— Где?

— В колыбели, балда.

Мы вытягиваем шеи. С тротуара Иисуса не видно.

— Подойду поближе, посмотрю, — говорит мой приятель.

— Лучше не ходи.

— Почему?

— Будут неприятности.

Я не знаю, почему я это сказал. Даже в том возрасте мир для меня уже был разделен на «мы» и «они». Если ты еврей, то не должен говорить об Иисусе и, наверное, даже смотреть на него.

— А я все равно посмотрю, — говорит приятель.

Я с опаской ступаю вслед за ним. Под ногами у нас скрипит снег. Вблизи все три мудрых старца выглядят фальшиво — гипсовые фигуры с лицами и телами,

покрашенными оранжеватой краской.

— Вон он, — говорит приятель.

Я заглядываю ему через плечо. Там в колыбели, в раскрашенном сене лежит младенец Иисус. Меня пробирает дрожь. Мне чудится, что он вот-вот откроет глаза и выкрикнет: «Попался!»

— Пошли, а то опоздаем, — говорю я приятелю и поворачиваю назад.

— Трусишка, — бросает он.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Когда Генри было двенадцать лет, он как-то раз в пятницу вечером оказался на службе в Церкви Истинного Спасения в Гарлеме. Приученный верить в Бога-отца и, признавший Его Сына своим личным Спасителем, он впервые всей душой воспринял Святого Духа.

Это была «Служба Ожидания» у пятидесятников, вдохновленная призывом Иисуса ждать Его гласа в городе, пока Он «ниспошлет с небес свое могущество»; и по этой традиции людей вызывали прикоснуться к Святому Духу. Генри вслед за остальными последовал к кафедре проповедника, и, когда подошла очередь Генри, его помазали оливковым маслом, а потом велели стать на колени и склониться над расстеленной газетой.

— Зови Его, — услышал он голоса.

И Генри позвал. Он сказал: «Иисус, Иисус», а потом стал повторять: «Иисус, Иисус, Иисус», пока слова не начали натыкаться одно на другое. Он качался из стороны в сторону и без конца повторял «Иисус». Прошли минуты. У него заболели колени.

— Иисус, Иисус, Иисус…

— Зови Его! — орали прихожане. — Зови Его!

— Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус…

— Он на пути! Зови Его!

В голове у Генри стучало. Сводило икры.

— Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус…

— Еще немного! Еще немного!

— Зови Его! Зови Его!

Пот катился с него градом. Он задыхался. Прошло минут пятнадцать, может, двадцать. Слова теперь выскакивали такими беспорядочными и скомканными, что уже не имели ничего общего со словом «Иисус», лишь невнятные слоги, бульканье,

бормотание, стоны и капающая изо рта на газету слюна. Его голос, язык, зубы, губы — все это слилось в какой-то неистовый, безумный трясущийся механизм.

— Исуисусииусусисуууус…

— Получилось! Получилось!

И Генри принял Святого Духа. Или думал, что принял. Он выдохнул, потом набрал полную грудь воздуха и чуть не задохнулся. Он глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Вытер подбородок. Кто-то скомкал газету и унес ее.

— Ну, как ты теперь себя чувствуешь? — спросил его пастор.

— Хорошо, — задыхаясь, ответил Генри.

— У тебя хорошо на душе оттого, что Он послал тебе Святого Духа?

Да, на душе у Генри и вправду было хорошо. Хотя он не очень-то понял, что *именно* с ним произошло. Но пастор улыбнулся и попросил Господа защитить Генри, чего, собственно, Генри больше всего и хотелось — молитвы о защите. Позднее, вернувшись в свой район, он чувствовал себя в безопасности.

В тот вечер Генри вобрал в себя Святого Духа. Но вскоре он «вобрал» и кое-что еще. Он начал курить сигареты. Он стал выпивать. Его выгнали из шестого класса за драку с девочкой. А вскоре к списку его «доблестей» добавилось курение марихуаны.

Однажды подростком он случайно услышал, как его мать говорила их родственнику, что из всех детей только у одного Генри доброе сердце и сильный характер. «Мой мальчик когда-нибудь станет проповедником», — сказала она.

Генри про себя рассмеялся. Проповедником? Знала б она, сколько травки он враз выкуривает.

ВЕРА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Рабочий кабинет Рэба почти не отличался от его домашнего. Беспорядок. Кругом бумаги, письма, сувениры. И разные смешные вещи. На двери — список благословений, а рядом — забавные плакаты и даже шутливое объявление для парковки:

ЗАЙМЕШЬ МОЕ МЕСТО,
ЗАМЕШУ, КАК ТЕСТО.

Мы сели. Я откашлялся. Вопрос у меня был совсем простой. Мне было необходимо это знать, чтобы сочинить прощальную речь.

— Почему вы занялись этим делом?

— Этим делом?

— Религией.
— А-а.
— У вас было призвание?
— Не сказал бы. Нет, не думаю.
— Откровение? Сон? Вам в некоем образе явился Бог?
— Ты, наверное, прочитал слишком много всякой всячины.
— Ну… Я читал Библию.
Рэб усмехнулся:
— В этой Книге про меня не написано.

Я не хотел его обидеть. Просто я всегда думал, что раввины, священники, пасторы живут на каком-то ином уровне — между грешной Землей и святыми небесами. Бог там, наверху. Мы внизу. А они где-то посередине.

Зная Рэба, этому легко было поверить, особенно человеку молодому. Помимо его внушительной внешности и блестящей репутации, были еще и его проповеди. Он произносил их со страстью, юмором, порой с грохочущим негодованием или взволнованным шепотом. Проповедь для Альберта Льюиса была словно крученый мяч для питчера[7] или ария для Паваротти. Люди приходили, чтобы послушать его проповедь. Мы все это знали. И в глубине души он тоже догадывайся об этом. Я уверен, что есть конгрегации, в которых люди, как только начинается проповедь, стараются потихоньку смыться. Но в нашей синагоге все было наоборот. Люди с тревогой поглядывали на часы и ускоряли шаг, только бы не опоздать на проповедь Рэба.

Почему? Наверное, потому, что он подходил к проповеди нетрадиционно. Позднее я узнал, что учили его формальному, академическому стилю, — начинай в пункте А, двигайся к пункту Б, представь анализ и подтверждающие его ссылки. Но он, выступив таким манером раз-другой, полностью от него отказался. Люди ничего толком не понимали. Умирали от тоски. И Рэб видел это по их лицам.

Тогда он начал с первой главы Бытия, выделил в ней самые простые мысли и провел от них параллели к современной жизни. Он задавал вопросы. Он просил людей задавать вопросы ему. И родился новый стиль.

С годами эти проповеди преобразовались в захватывающие представления. С интонациями волшебника он из одного крешендо перетекал в другое, он перемежал библейские цитаты песнями Синатры, водевильными шутками и выражениями на идиш; он даже иногда подключал к проповеди аудиторию. «Кто хочет быть волонтером?» — спрашивал он. Что только не шло в ход. Однажды во время проповеди он принес табурет, сел на него

и стал читать «Черепаху Эртель» Доктора Сьюза. В другой раз он на проповеди спел «Дорогой длинною». А как-то раз он принес на проповедь баклажан и кусок дерева и принялся резать каждый из них ножом, чтобы показать нам, насколько то, что растет быстро, легче разрушить, чем то, что растет не спеша.

Он мог цитировать журналы «Ньюсуик» и «Тайм» или газету «Сатердей ивнинг пост», мультфильм, пьесу Шекспира или телесериал «Мэтлок». Он мог петь на иврите, на английском, на итальянском, или вдруг у него появлялся ирландский акцент. Популярные песни, народные песни, старинные песни. Из проповедей Рэба я узнал о могуществе языка больше, чем из любой прочитанной мной книги. Во всей молельной комнате не было ни одного человека, который не слушал бы его невнимательно. Даже когда он нас бранил, мы не могли оторвать от него глаз. Честно *говоря*, мы слушали его затаив дыхание — так он был хорош.

Мне было интересно, вдохновило ли Рэба на его профессию Божественное провидение. На ум приходили Моисей и горящий терновник, пророк Илия и нежный шепот, Валаам и его ослица, Иов и вихрь. Чтобы проповедовать, полагал я, человеку должно быть ниспослано откровение.

— Далеко не всегда, — сказал Рэб.

— Так что же вас привлекло к этому делу?

— Я хотел быть учителем.

— Учителем религии?

— Учителем истории.

— В обычной школе?

— В обычной школе.

— Но вы ведь поступили в духовную академию?

— Поначалу да.

— Поначалу?

— В первый раз я провалился.

— Вы шутите?

— Нет, не шучу. Глава академии Луис Финкельштейн подозвал меня и сказал: «Знаешь, Ал, хоть ты и очень образован, но мы думаем, тебе недостает того, что вдохновляет людей. Это необходимо, чтобы стать хорошим раввином».

— И что вы сделали?

— А что мне было делать? Я ушел из академии.

* * *

Я остолбенел. Об Альберте Льюисе можно было сказать что угодно, но только не то, что он не способен вдохновлять людей и возглавлять конгрегацию. Немыслимо! Может быть, он показался руководству академии слишком мягким? Или слишком робким? Как бы там ни было, но, по словам Рэба, этот провал его сокрушил.

Он устроился вожатым в летний лагерь в Порт Джервис штата Нью-Йорк. Один из подростков в лагере оказался крепким орешком. Если всех собирали в одном месте, он оказывался совсем в другом. Если всех просили сесть, он в знак протеста стоял.

Парнишку звали Финис, и Ал стал проводить с ним долгие часы, терпеливо выслушивая рассказы о его проблемах и ободряя его. Ал хорошо понимал, какие мучения порой испытывают подростки. Он и сам рос в довольно замкнутой среде и был неуклюжим, малопривлекательным пареньком. У Финиса было всего несколько приятелей. И он еще ни разу, по-настоящему, не встречался с девушкой.

Финис, судя по всему, нашел в Альберте родственную душу. И к концу смены мальчишка сильно переменился.

Спустя несколько недель Альберту позвонил отец Финиса и пригласил его на обед. Оказалось, что отцом Финиса был Макс Кадушин, выдающийся ученый и один из самых активных членов консервативного течения в иудаизме. В тот вечер за столом отец Финиса сказал ему: «Ал, я просто не знаю, как вас благодарить. Из лагеря вернулся совсем другой человек. Вы сделали из моего сына мужчину».

Ал улыбнулся.

— У вас есть подход к людям, особенно к детям.

— Спасибо, — ответил Ал.

— А вам никогда не хотелось поступить в духовную академию?

Ал чуть не поперхнулся.

— Я пытался, — сказал он, — но у меня не получилось.

Макс задумался.

— Попробуйте еще раз, — наконец сказал он.

И с помощью Макса Кадушина вторая попытка Альберта закончилась его поступлением. Он с отличием окончил академию. И получил звание раввина.

Вскоре после этого Альберт Льюис сел в автобус и отправился в Нью-Джерси на собеседование. Он был принят на первую и единственную в его жизни должность раввина, ту самую, на которой он все еще служил пятьдесят лет спустя.

— И ангел не являлся? — спросил я. — И вы не видели

горящего терновника?

— Нет, — усмехнулся раввин. — Сел в автобус и приехал.

Я записал в блокноте: «Самый замечательный человек из всех, кого я знал, реализовал свой потенциал благодаря тому, что помог одному парнишке проявить его способности».

Я спрятал блокнот и вышел из кабинета. Из нашей беседы я узнал, что Альберт Льюис верит в Бога, что он говорит с Богом, что он стал Божьим человеком случайно и что он умеет ладить с детьми. Не так уж мало для начала.

Мы дошли до вестибюля. Я обвел взглядом просторное помещение, в котором обычно бывал не чаще раза в году.

— Приятно вернуться домой? — спросил Рэб.

Я пожал плечами. Это уже больше не мой дом.

— Вы не против, — начал я, — если я расскажу эти истории, когда буду… ну… когда стану говорить прощальную речь?

Рэб потер подбородок.

— Когда придет время, — сказал он, — я думаю, ты сообразишь, что сказать.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Когда Генри было четырнадцать, после длительной болезни умер его отец. На похоронах Генри шел в костюме, — Вилли Ковингтон считал, что у каждого из сыновей должен быть костюм, даже если ни на что другое денег нет.

Члены семьи подошли к открытому гробу. Уставились на усопшего. У Вилли была необычайно темная кожа, но в похоронном бюро ее превратили в красновато-коричневую. Старшая сестра Генри, увидев это, завопила и с криком «Папа совсем не такой!» принялась стирать с его лица косметику. Маленький братишка Генри пытался влезть в гроб. Мать рыдала.

Генри же стоял рядом, не проронив ни звука. Ему хотелось лишь одного — чтобы отец снова был с ними.

Еще до того, как Генри стал поклоняться Богу, Иисусу или какой-то иной Божественной силе, он поклонялся своему отцу. Вилли был ростом в шесть футов и пять дюймов, с грудью, усеянной шрамами от пулевых ранений, происхождение которых детям так никто никогда и не объяснил. Родом он был из Северной Каролины, где в свое время делал матрасы. Человек он был суровый, курил беспрестанно и любил выпить, но когда вечером подвыпивший он приходил домой, то часто бывал нежен и, подозвав к себе Генри, спрашивал его:

— Ты любишь своего папу?

— Ага, — отвечал Генри.

— Тогда обними папу. Поцелуй папу.

Вилли был человеком необычным. Настоящей работы у него никогда не было, но он требовал, чтобы его дети учились как следует. Он был предприимчивым мошенником и вымогателем и одалживал деньги под баснословные проценты. Но приносить домой украденное строго запрещал. Когда Генри, будучи учеником шестого класса, начал курить, отец, узнав об этом, коротко предупредил: «Не смей просить у меня сигарет».

Однако детей своих Вилли любил. Он хотел, чтобы они хорошо учились, и без конца проверял их знания по школьным предметам. За ответы на легкие вопросы давал им по доллару, за трудные математические задачи — по десять. Генри нравилось, когда отец пел, особенно старые спиричуэле[8], вроде «Как прохладно здесь, на берегу Иордана».

Но вскоре Вилли стало не до песен. Он только хрипел и кашлял. У него нашли эмфизему и туберкулез мозга. В последний год своей жизни Вилли фактически не вставал с кровати. Он харкал кровью и едва прикасался к пище. А Генри, несмотря ни на что, готовил отцу еду и приносил ее на тарелке прямо в постель.

Как-то вечером, когда Генри принес отцу обед, тот грустно посмотрел на сына и прохрипел: «Послушай, сынок, если у тебя кончатся сигареты, можешь взять мои».

Несколько недель спустя он умер.

После похорон баптистский проповедник говорил что-то об Иисусе и душе, но до Генри его слова не доходили. Он верил, что отец вернется, что наступит день, и он появится в дверях, напевая свою любимую песню.

Прошли месяцы. Но ничего подобного не случилось.

И вот, потеряв своего единственного героя, Генри, сын предприимчивого мошенника, принял решение: теперь он начнет брать от жизни все, что ему захочется.

Май

РИТУАЛ

Весна подходила к концу, подступало лето, и полуденное солнце нещадно палило сквозь кухонное окно. Это была наша третья встреча. Перед ее началом Рэб налил мне стакан воды.

— Бросить лед? — спросил он.

— Нет, и так сгодится, — отозвался я.

— И так сгодится, — запел Рэб. — Не надо льда… хоть жизнь со льдом — одна отрада… но тем не менее льда не надо.

Возвращаясь в его кабинет, мы прошли мимо большой фотографии, на которой юный Рэб стоял на горе в лучах яркого солнца. Высокий, крепкий, с черными зачесанными назад волосами, — именно таким я его и помнил с детства.

— Хорошая фотография, — сказал я.

— Это моя гордость.

— Где это?

— На горе Синай.

— Где мы получили Десять заповедей?

— Точно.

— Когда ж это было?

— В 1960-х. Я путешествовал с группой ученых. Мы вместе с одним человеком — христианином — поднялись на вершину. Он меня и сфотографировал.

— Сколько же часов вы поднимались?

— Много. Мы шли всю ночь и достигли вершины на рассвете.

Я бросил взгляд на его старческое тело. Сейчас такое путешествие ему уже не осилить. Узкие плечи его ссутулились, морщинистая кожа на запястьях обвисла.

Рэб зашагал в сторону своего кабинета, а я стал внимательно вглядываться в фотографию. На молодом раввине, помимо белой рубашки и молитвенной шали, был еще тфилин — маленькие коробочки с молитвенным текстом, которые верующие евреи привязывают ко лбу и руке перед чтением утренней молитвы.

Рэб сказал, что поднимался на гору всю ночь.

Значит, он не забыл взять с собой тфилин.

Ритуалы занимали в жизни Рэба важное место. Он молился по утрам. Молился вечером. Ел определенного рода еду. Не ел того, чего не положено. В субботу, как предписано еврейским законом, он машину не водил. Ни в ясный день, ни в дождливый.

Он всегда ходил в синагогу пешком. По праздникам он исполнял все полагающиеся традиции: на Песах[9] собирал у себя дома на сейдер[10] гостей, на Рош хашана[11] бросал в реку крошки хлеба — символический ритуал освобождения от грехов.

Подобно католицизму с его послеполуденными службами, таинствами и Святым причастием или исламу с его молитвенными ковриками, поощрением чистоты и пятиразовой молитвой, в иудаизме тоже достаточно ритуалов, чтобы занять человека на день, на неделю и на год.

Я помню, что когда-то Рэб бранил — порой мягко, а порой и сердито — членов нашей конгрегации за то, что они пропускали традиционные ритуалы, а то и совсем отказывались от них: не зажигали свечей, не произносили благословений или даже забывали прочитать поминальную молитву Кадиш по ушедшим из жизни близким.

И хотя он призывал их отнестись к ритуалам с возможно большим рвением, члены нашей конгрегации с каждым годом все сильнее отпускали вожжи. Сегодня они забывали помолиться. Завтра — пропускали праздник. Некоторые вроде меня женились на девушках другой веры.

Мне было интересно, насколько теперь, когда дни Рэба подходили к концу, важны были для него ритуалы.

— Жизненно важны, — ответил он мне.

— Но почему? В глубине души вы и так знаете, во что именно вы верите.

— Митч, — сказал Рэб, — вера проявляется в том, что ты делаешь. Человек — это его поступки, а не только то, во что он верит.

На самом деле Рэб не просто соблюдал ритуалы, — из них была соткана его жизнь. Когда он не молился, он или садился за учебу, — без нее он не мыслил своего служения, — или занимался благотворительностью, или навешал больных. Жизнь его казалась более или менее предсказуема, а по американским стандартам, возможно, даже скучна. По представлениям некоторых, нам не следует изо дня в день делать одно и то же. Нам нужны свежие впечатления и новизна. Рэба новизна не манила. И не привлекали причудливые новшества. Он не увлекся упражнениями пилатес и не играл в гольф (однажды кто-то подарил ему клюшку, и она годами валялась у него в гараже).

В его праведной жизни была некая умиротворенность. Она была в том, как он переходил от одного ритуала к другому, в том, как в определенные часы он делал определенные дела, в том, как каждую осень на праздник суккот он сооружал постройку с

сетчатой крышей, через которую светили звезды, в том, как каждую неделю он отмечал шаббат, разделяя свою жизнь на шесть рабочих дней и один день отдыха. Шесть и один.

— Так жили родители моих родителей. Так жили мои родители. Если я выброшу все это из своей жизни, получится, что их жизням вроде как грош цена.

А может, тогда грош цена и моей жизни? С помощью этих ритуалов поколения…

Рэб умолк в поисках нужного слова.

— Связаны друг с другом? — сказал я.

— Точно. — Он улыбнулся. — Связаны друг с другом.

КОНЕЦ ВЕСНЫ

Когда в тот день мы направились к выходу, я вдруг ощутил, что меня гложет чувство вины. Ведь у меня в жизни тоже когда-то были ритуалы. Но последние десятки лет я от них полностью отрекся. Я теперь не делаю абсолютно ничего, что связывало бы меня с моей верой. Правда, все эти годы жизнь моя была весьма увлекательной. Я много путешествовал. Встречался с интересными людьми. Но мои повседневные занятия — зарядка, чтение новостей, проверка электронной почты, — все это делалось исключительно для меня самого и никак не было связано с традициями. С кем и с чем я связан? С любимым телешоу? С утренней газетой? Моя работа требует гибкости. А ритуал требует совсем иного.

К тому же я считал, что ритуал — дело милое, но очень уж старомодное, вроде печатания под копирку. По правде говоря, если уж что-то в моей теперешней жизни и можно было назвать религиозным ритуалом, так это мои визиты к Рэбу. Я наблюдал его на работе и дома, видел, как он смеется и как отдыхает. Я даже видел его в шортах.

И еще, этой весной я общался с ним чаще, чем за последние три года. Но до сих пор не мог понять, почему для участия в своем посмертном ритуале он выбрал меня — нерадивого прихожанина, который фактически подпел его при жизни.

Мы подошли к двери.

— Можно я задам вам еще один вопрос? — спросил я.

— Еще оди-и-ин, — пропел Рэб. — Прошу-у-у вас, господи-и-ин!

— Как вам удалось не стать циником?

Рэб замер.

— В моей работе цинизму просто нет места.

— Но у людей столько недостатков. Они пренебрегают ритуалами, пренебрегают верой… Они пренебрегают даже вами. Неужели вы не устаете от этих бесплодных трудов?

Рэб посмотрел на меня с сочувствием. Возможно, он понял, что на самом деле я его спрашивал: «Почему вы выбрали меня?»

— Давай я отвечу тебе одной историей, — сказал он. — Некий коммивояжер стучится в дверь. Человек за дверью отвечает: «Мне сегодня ничего не нужно».

Коммивояжер возвращается на следующий день.

«Уходи», — говорит ему хозяин дома.

Еще через день коммивояжер приходит снова.

Хозяин кричит ему: «Это опять ты! Я же тебе сказал: уходи!» И так рассердился, что плюнул коммивояжеру в лицо.

Коммивояжер улыбнулся, вытер платком плевок, посмотрел на небо и говорит: «Похоже, идет дождь».

Он помолчал и вновь обратился ко мне:

— Митч, в этом и состоит вера. Тебе плюют в лицо, а ты говоришь, что, наверное, идет дождь, И завтра возвращаешься снова. — Рэб улыбнулся. — Ты ведь тоже вернешься? Возможно, не завтра…

Рэб развел руки так, словно ожидал вручения посылки. И впервые в житии я от него не сбежал.

Я его обнял.

Объятие это было торопливым. И неуклюжим. Но я успел ощутить острые лопатки Рэба и его колючую щеку, И в этом кратком объятии я почувствовал, как этот гигант, этот Божий человек уменьшился до обычного человеческого размера.

Оглядываясь назад, я думаю, что именно в эту минуту его просьба о прощальной речи обернулась для меня чем-то совсем иным.

ЛЕТО

ГОД 1971-й…

Мне тринадцать лет. Важнейший день моей жизни. Я наклоняюсь над пергаментом с текстом Торы, в руке у меня серебряная указка с конником в форме руки. Я вожу ею по древнему тексту, нараспев читая слова ломающимся подростковым голосом.

В первом ряду сидят мои родители, дедушки, бабушки, брат, сестра. За ними другие родственники, друзья, дети из моей школы.

Смотри в текст, говорю я себе. Не завали.

Я напевно читаю текст, и у меня совсем неплохо получается. Когда я заканчиваю чтение, ко мне подходят несколько мужчин и пожимают мою потную руку. Они поздравляют меня, а потом я поворачиваюсь и шагаю через весь помост туда, где стоит одетый в мантию Рэб и ждет меня.

Он смотрит на меня сквозь очки. Жестом просит сесть. Кресло кажется мне огромным. Я краем глаза замечаю его молитвенник с множеством вставленных в него закладок. У меня ощущение, что я оказался в его личном пристанище. Он громко поет, и я тоже громко пою, чтобы он не подумал, будто я халтурю, но внутри у меня все дрожит. Обязательная часть моей бар-мицвы закончена, но самое мучительное впереди — беседа с раввином. К ней невозможно подготовиться. Она спонтанна. Хуже всего то, что ты должен стоять рядом с ним — лицом к лицу. Никаких побегов от Бога.

Когда молитва прочитана, я встаю. Я едва возвышаюсь над кафедрой, и некоторые люди в зале привстают, чтобы меня увидеть.

— Ну, что вы, молодой человек, сейчас испытываете? — спрашивает Рэб. — Облегчение?

— Да, — бормочу я.

Из зала доносится приглушенный смех.

— Когда мы с вами беседовали несколько недель назад, я спросил вас, что вы думаете о своих родителях. Помните?

— Кажется, — говорю я.

Снова смех.

— Я спросил вас, думаете ли вы, что они

совершенны, или считаете, что им еще надо совершенствоваться. Вы помните, что мне ответили?

Я в ужасе замираю.

— Вы сказали, что они не совершенны, но…

Он кивает мне. Говори. Продолжай.

— Но им не нужно совершенствоваться? — неуверенно заканчиваю я.

— Но им не нужно совершенствоваться, — подтверждает раввин. — И это очень мудро. Знаете почему?

— Нет, — отвечаю я.

Снова смех.

— Потому, что эти слова говорят о том, что вы принимаете людей такими, какие они есть. Совершенных людей нет. Даже среди родителей. И это в порядке вещей.

Рэб улыбается и кладет обе руки мне на голову. Он произносит благословение: «Пусть Господь пошлет тебе свое благоволение, и оно снизойдет на тебя сиянием…»

Теперь я благословлен. И благоволение Господа снизошло на меня своим сиянием.

Но что это означает? Мне теперь больше всего позволено? Или меньше?

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Примерно в то время, когда по традиции своей веры я становился мужчиной, Генри становился преступником.

Начал он с кражи машин. Он стоял на шухере, пока его старший брат отмычкой открывал замки. К этому добавилось воровство дамских сумок. За ним — кражи в магазинах, особенно продуктовых: он запихивал в свои безразмерные штаны и рубахи пачки свиных отбивных и батоны колбасы.

О школе он и не вспоминал. В то время как его сверстники участвовали в футбольных играх и ходили на прощальные школьные вечера, Генри совершал вооруженные налеты. На молодых, на старых, на белых, на афроамериканцев — на всех без разбора. Он вынимал пистолет и требовал деньги, кошельки, украшения.

Шли годы. И на улицах у него появились враги. Осенью 1976 года во время расследования одного убийства его сосед-соперник пытался подставить Генри. Парень заявил полиции, что убийцей был Генри. Позднее он изменил свои показания и обвинил

другого.

И вот, когда полицейские вызвали Генри на допрос, он, девятнадцати лет от роду, с шестью классами образования, сообразил, что может отомстить своему сопернику и заодно получить пять тысяч долларов в награду.

И тогда, вместо того чтобы сказать «Я обо всем этом понятия не имею. Меня там и близко не было», он принялся сочинять, кто где был и кто что делал. Он нанизывал одну ложь на другую. Он впутал в это дело и себя, но не как участника, а как свидетеля. Он думал, что всех перехитрил.

Большей глупости сделать он не мог. Из-за его лжи арестовали и его, и еще одного парня; их обвинили в непредумышленном убийстве. Того другого парня судили, признали виновным и посадили на двадцать пять лет. Адвокат Генри предложил ему признать себя виновным и, договорившись с прокурором, согласиться на семь лет тюрьмы.

Генри был в отчаянии. Семь лет за преступление, которого он не совершал?

— Что же мне делать? — спросил он у матери.

— Семь меньше, чем двадцать пять, — ответила она.

Генри едва сдерживал слезы. В суде он согласился на семь лет. Его увели в наручниках.

По дороге в тюрьму Генри проклинал судьбу за несправедливое наказание. Ему и в голову не приходило посчитать, сколько раз он уже успел заслужить срок и при этом избежать наказания. Он был зол и полон отчаяния. Он поклялся, что, выйдя на свободу, возьмет от жизни все, что ему причитается.

ТО, ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ…

Было лето 2003 года, мы сидели на кухне. Жена Рэба, Сара, нарезала дыню, а Рэб в белой с короткими рукавами рубашке, красных носках и сандалиях, — к подобным комбинациям я уже понемногу стал привыкать, — подставлял ей тарелки.

— Поешь, — сказал Рэб.

— Немного позже.

— Не голоден?

— Я поем, но немного позже.

— Полезная штука.

Я съел кусок дыни.

— Нра-а-вится?

Я закатил глаза. Рэб явно дурачился. Вот уж не думал, что

буду приезжать к нему через три года после наших первых встреч. Если кто-то заговаривает о прощальной речи, обычно думаешь, что конец уже близок.

Но Рэб, насколько я понял, был вроде старого дуба, — в бурю он гнулся, но не ломался. За последние годы Рэб одолел болезнь Ходжкина, воспаление легких, аритмию и микроинсульт. Теперь, когда раввину было уже восемьдесят пять, ему приходилось поддерживать себя горстью таблеток, включая дайлантин от судорог и вазотек и топрол от сердечных приступов и гипертонии. А недавно он перенес осложнение после герпеса. За пару недель до моего приезда Рэб упал, сломал ребра и провел несколько дней в больнице, где ему велели ходить с палкой, — как выразился врач, «для вашей собственной безопасности». Но Рэб редко ею пользовался. Не хотел, чтобы члены его конгрегации решили, будто он ослаб.

Стоило мне к нему явиться, как он стал рваться на улицу. И я про себя радовался: он сражается со своей старостью. Мне не хотелось видеть его дряхлым. Этот Божий человек всегда был крупным мужчиной, высоким, с хорошей осанкой. И я эгоистично желал, чтобы он всегда таким и оставался.

К тому же я хорошо знал, что происходит в противном случае. За восемь лет до этого у меня на глазах медленно умирал от болезни Люгерика мой любимый профессор Морри Шварц. Каждый вторник я приходил в его дом в окрестностях Бостона. И с каждой неделей — несмотря на силу его духа — тело его слабело.

С нашей первой встречи не прошло и восьми месяцев, как Морри умер.

Я хотел, чтобы Альберт Льюис — а он родился в том же году, что и Морри, — прожил подольше. У меня было еще столько вопросов, которые я так и не успел задать своему старому профессору. Сколько раз я говорил себе: «Если бы у нас было хотя бы еще несколько минут…»

Я с нетерпением ждал каждой встречи с Рэбом, воображая себе, как я сажусь в большое зеленое кресло, а он безнадежно шарит по письменному столу в поисках какого-то письма. Иногда я летел в Филадельфию прямо из Детройта. Но чаще приезжал к нему в воскресенье утром на поезде из Нью-Йорка, где участвовал в съемках телешоу. Наши встречи проходили в часы религиозной службы, так что, наверное, их можно было назвать «церковными», если это, конечно, подходящее название для беседы двух еврейских мужчин.

У моих друзей эти встречи вызывали любопытство и

изумление.

— Ты ходишь к нему в дом так, как будто он обычный человек?

— Тебе не страшно с ним разговаривать?

— Он заставляет тебя во время встреч молиться?

— Вы с ним обсуждаете прощальную речь? Но ведь это ужасно!

Оглядываясь назад, я понимаю: то, что происходило, было весьма необычным. И спустя некоторое время я мог бы прервать эти визиты. У меня уже было достаточно материала для того, чтобы отдать Рэбу дань уважения.

Но мне казалось, я должен продолжать наши встречи, — я хотел, чтобы мое прощальное слово отражало суть этого человека. А если по-честному, дело было не только в этом. Он разбудил во мне то, что дремало все эти годы. Рэб постоянно восхвалял «нашу прекрасную веру». Когда другие совершали нечто подобное, мне становилось неловко. Я вообще не хотел сближаться ни с одной конфессиональной группой. Но видеть Рэба в его преклонном возрасте таким… как бы это сказать… радостным человеком, доставляло мне необычайное удовольствие. Для меня вера практически мало что значила, но для него — совсем другое дело. Вера давала ему истинное душевное равновесие. А я знаю лишь немногих, кто, как он, живет в ладу с самим собой.

И я продолжал к нему ездить. Мы беседовали. Мы смеялись. Мы читали его старые проповеди и обсуждали, насколько они сейчас актуальны. Я понял, что могу говорить с Рэбом почти обо всем. Он смотрел мне в глаза, и казалось, что время останавливается, и в этом мире никого, кроме нас, нет.

Возможно, это был его природный дар, который помогал ему в работе раввина.

А может быть, это был дар его служения, преподнесенный ему самому.

Как бы то ни было, но Рэб теперь подолгу выслушивал других. После ухода с должности главного раввина ему реже надо было ходить на собрания и меньше возиться с бумагами. В отличие от того времени, когда он только что прибыл в эти края, дела в синагоге теперь уже и сами по себе шли гладко.

Что говорить, Рэб мог бы перебраться куда-нибудь в теплые края — во Флориду или Аризону. Но его туда никогда не тянуло. Он однажды поехал на конференцию в Майами и с недоумением обнаружил, что туда переехало множество его коллег.

— Почему вы оставили свои конгрегации? — спросил он.

Одни ответили ему, что им больно ощущать себя отстраненными от прежнего почетного места, другие пожаловались, что те, кто заменил их, не слишком радуются присутствию старых раввинов.

Рэб же, — а он часто говорил, что худший враг раввина — его эго, — нисколько не завидовал тем, кто его заменил. Как только он ушел на пенсию, он тут же добровольно переехал из своего большого кабинета в маленький. А как-то раз в шаббат перед утренней службой он поднялся со своего любимого кресла на сцене и пересел на место рядом со своей женой — в заднем ряду молельной комнаты. Прихожане от изумления онемели.

Так же как в свое время Джон Адамс, покинув президентский пост, вернулся к фермерству, так и Рэб попросту занял свое прежнее место в толпе.

ИЗ ПРОПОВЕДИ РЭБА, 1958 ГОД

Маленькая девочка вернулась домой из школы с нарисованным в классе рисунком. Пританцовывая, она влетела в кухню, где ее мать готовила обед.

— Знаешь что, мам? — взвизгнула она, размахивая рисунком.

— Что? — спросила мать, не поднимая головы, — она помешивала что-то в кастрюле.

— Знаешь что, мам? — повторила девочка, размахивая рисунком.

— Что? — не глядя, спроста мать, — она теперь расставляла тарелки.

— Мам, ты меня не слушаешь.

— Слушаю, солнышко, слушаю.

— Мам, — сказала девочка, — ты меня не слушаешь глазами.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Свое первое тюремное заключение Генри отбывал на острове Райкерс в Ист-Ривер, неподалеку от летного поля аэропорта Ля Гвардия. Место это располагалось болезненно близко от его дома — всего в нескольких милях — и постоянно напоминало Генри о глупости, из-за которой он оказался по другую сторону железобетонной стены.

Во время своего пребывания на Райкерсе Генри узнал то, чего ему лучше было бы не знать. Он видел, как одни заключенные нападали на других и калечили их. Они набрасывали на голову жертвы одеяло, и тот уже не мог опознать виновных. Однажды парень, поспоривший с Генри, ударил его кулаком в лицо. А две недели спустя тот же самый заключенный пытался вонзить Генри в спину заточку, сделанную из вилки.

Все это время Генри хотелось кричать о своей невиновности. Но что толку о ней кричать? Все вокруг кричали о своей невиновности. Примерно через месяц Генри перевели в Элмира Коррекшнл, тюрьму строго режима на севере штата Нью-Йорк.

Он едва прикасался к еде. Почти не спал. Только курил сигарету за сигаретой. Как-то раз жаркой ночью Генри проснулся весь в поту. Встал с постели и пошел выпить холодной воды. Сна вдруг как не бывало. Генри увидел перед собой железную дверь. Он повалился на постель и зарыдал.

В ту ночь Генри спросил у Бога, почему он, Генри, не умер младенцем. Неожиданно мерцающий луч света скользнул по его глазам и остановился на лежащей в камере Библии. Генри открыл ее на первой попавшейся странице — это была Книга Иова. Он открыл ее на том самом месте, где Иов проклинает день, когда он родился.

И Генри впервые почувствовал, что Бог пытается ему что-то объяснить.

Но Генри не стал Его слушать.

Июнь

ОБЩИНА

Покончив с дыней, мы с Рэбом перешли к нему в кабинет, где по-прежнему в полном беспорядке лежали коробки, бумаги, письма, папки. Если бы Рэб чувствовал себя лучше, мы пошли бы на прогулку, — он любил бродить по окрестностям, хотя и признавался, что теперь знает далеко не всех своих соседей.

— Когда я рос в Бронксе, — сказал Рэб, — все вокруг друг друга знали. Наш многоквартирный дом был как одна семья. И мы все стояли друг за друга. Помню, когда я был мальчишкой, как-то раз возле нашего дома остановился большой грузовик с овощами и фруктами. Я был такой голодный, что начал незаметно толкать грузовик, чтобы яблоко с него скатилось мне в руки и это не сошло за воровство. И вдруг слышу, откуда-то сверху мне кричат на идиш: «Альберт, этого делать нельзя!» Я так и подпрыгнул. Думал, это Бог.

— Кто же это был? — спросил я.

— Соседка с верхнего этажа.

Я рассмеялся. Вряд ли соседка тянет на Бога.

— Нет, не Бог. Но все мы, так или иначе, участвовали в жизни друг друга. Если один из нас готов был вот-вот сорваться, другой его тут же подхватывал. В этом и состоит суть конгрегации. Мы называем это «Кехиля Кедуша» — священная община. И община эта постепенно сходит на нет. Пригороды все меняют. У каждого своя машина. У всех миллион запланированных дел. Тут уже не до соседей. Радуешься, когда можешь собрать всю семью на ужин.

Рэб грустно покачал головой. Обычно он с удовольствием шел в ногу со временем. Но такого рода новшества ему были явно не по душе.

И все-таки, даже уйдя на пенсию, Рэб умудрялся объединять свою священную общину. День за днем он перелистывал телефонную книжку и делал звонок за звонком. Внуки подарили ему телефон с гигантскими черными цифрами на белом фоне, чтобы ему легче было набирать номер.

— Здравствуйте, — начинал он. — Это Альберт Льюис. Можно мне поговорить с…

Он следил за всеми важными событиями жизни членов своей общины: годовщинами, уходом на пенсию… и звонил. Он знал, кто болен, кто недомогает… и звонил. Он терпеливо выслушивал

их рассказы о радостях и тревогах.

Особенно он заботился о самых старых членах конгрегации. «Пусть знают, что о них по-прежнему помнят», — объяснил он мне.

Интересно, думал ли он при этом о себе?

Я тоже общался не менее чем с сотней людей в неделю, но в отличие от него главным образом с помощью электронной почты или эсэмэс. Мой сотовый всегда при мне, и общение мое обычно состоит из двух-трех слов: «позвони завтра», «увидимся вечером». Чем короче, тем лучше.

Рэб не признавал краткости. Не признавал электронной почты. «Как по электронному сообщению можно понять, что у человека не все ладно? — говорил он. — Написать можно все, что угодно. Я хочу их видеть. Или хотя бы слышать. Если я не могу их видеть и слышать, как я могу им помочь?»

Рэб вздохнул.

— Разумеется, в прежнее время… — начал он. И вдруг неожиданно запел: — В те пре-ежние лу-уч-шие дни друг к другу в гости ходи-и-ли они.

Я помню, как в те времена, когда я был еще ребенком, Рэб пришел навестить кого-то на нашей улице. Помнится, я отодвинул занавеску и вдруг увидел в окно его машину. Времена, конечно, были другие. Доктора ходили по домам. Молоко доставляли прямо на крыльцо. И ни у кого в доме не было систем охранной сигнализации.

Рэб приходил утешить семью, скорбевшую об утрате. Он посещал своих прихожан, если из дома сбегал ребенок или кого-то сокращали с работы. Было бы совсем неплохо, если бы сегодня к человеку, потерявшему работу, пришел раввин или священник, подсел к обеденному столу и подбодрил.

Теперь же подобная идея кажется архаичной, а некоторым, возможно, и неполиткорректной. Никто не хочет вмешиваться в твою личную жизнь.

— А теперь вы когда-нибудь навешаете людей дома? — спросил я.

— Если только меня приглашают, — ответил Рэб.

— А вам когда-нибудь звонят люди, не принадлежащие к вашей конгрегации?

— Конечно. Две недели назад, например, мне позвонили из больницы. Позвонили и говорят: «Умирающая женщина просит прислать ей раввина». И я пошел. Прихожу в больницу: рядом с женщиной, которая едва дышит, сидит в кресле мужчина. «Кто вы такой? — набросился он на меня. — Зачем вы сюда пришли?» —

«Мне позвонили, — отвечаю я. — Сказали, что кто-то умирает и хочет со мной поговорить». — «Посмотрите на нее! — сердито воскликнул мужчина. — Разве она в состоянии говорить? Я вам не звонил. Кто вам звонил?»

Я не знал, что и ответить. Мужчина продолжал возмущаться, а я стоял и молчал. Потом он немного успокоился и вдруг спросил меня: «Вы женаты?» — «Да» — ответил я. «Вам хотелось бы видеть, как умирает ваша жена?» — «Если бы была хоть малейшая надежда, что она выживет, то нет», — сказал я.

Мы проговорили с ним около часа. В конце я его спросил: «Вы не против, если я для вашей жены прочту молитву?» — «Я буду вам благодарен», — ответил он. И я прочитал молитву.

— А что потом? — спросил я.

— Потом я ушел.

* * *

Я покачал головой. Рэб целый час беседовал с незнакомцем? Я попытался вспомнить, когда я в последний раз беседовал с незнакомым мне человеком. И беседовал ли я с незнакомым человеком хоть когда-нибудь?

— А вы все-таки узнали, кто вам звонил? — спросил я.

— Формальным образом — нет. Но, выйдя из палаты, я заметил медсестру, которую помнил по прошлым своим визитам. Она была верующей христианкой. Когда я ее увидел, наши глаза встретились, и хотя она не сказала ни слова, я понял, что звонила она.

— Погодите. Христианская женщина позвала еврейского раввина?

— Она видела, как страдал этот человек. И не хотела, чтобы он страдал в одиночестве.

— Ну и смелость у этой женщины!

— Смелость, — сказал раввин, — и любовь.

ЕЩЕ НЕМНОГО ИСТОРИИ

Альберт Льюис, может, и достиг такого уровня, когда медсестра-христианка звонила ему с просьбой о помощи, но бывали времена, когда преодолевать религиозные предрассудки оказывалось не так-то просто. Помните, как Моисей говорил о себе «Чужестранец в чужой стране»? Табличку с этой фразой можно было повесить как вывеску над входом в дом Рэба, когда в

1948 году он прибыл в городок Хэддон-Хайтс штата Нью-Джерси.

В те времена городок этот был предместьем, откуда поезда уходили на запад в Филадельфию и на восток к Атлантическому океану. В городе было восемь церквей и лишь одна синагога, если, конечно, можно было так назвать этот перестроенный викторианский трехэтажный дом, с одной стороны от которого возвышалась католическая церковь, а с другой — епископальная. У церквей были внушительные кирпичные фасады и шпили, а у «синагоги» — только крыльцо; на первом этаже была кухня, посреди дома вилась винтовая лестница на второй и третий этажи, где располагались переделанные из спален классные комнаты и небольшая молельная комната, уставленная старыми принесенными из кинотеатра стульями.

В первоначальной конгрегации было, наверное, с три дюжины семей, некоторые из них жили от этого городка миль за сорок. Семьи эти послали письмо в духовную академию с мольбой прислать им раввина; в противном случае синагогу пришлось бы закрыть, так как поддерживать ее деятельность им одним было не под силу. Поначалу некие соседи-христиане подали петицию с требованием вообще не открывать в городке никаких синагог. Они представления не имели, что такое еврейская община, и подобная идея вселяла им опасение.

Как только Альберт принял предложение о работе, он взялся исправлять ситуацию. Он вступил в местную религиозную ассоциацию и протянул руку местным представителям всех религий. Он посещал школы и церкви, чтобы рассеять любые возможные предрассудки.

Одни визиты давались легко, другие — намного труднее.

Однажды Рэб пришел в церковную школу и, сидя с детьми в классной комнате, стал им рассказывать о своей религии. Тут один из детей поднял руку;

— А где ваши рога?

Рэб уставился на мальчика в изумлении.

— Где ваши рога? Разве не у всех евреев рога?

Раввин вздохнул и позвал мальчика подойти к нему. Он снял с головы кипу и велел парнишке провести рукой по его волосам.

— Чувствуешь рога?

Мальчик провел рукой по волосам.

— Давай ищи. Ну что, нашел?

Мальчик наконец остановился.

— Ничего нет, — тихо сказал он и поплелся на свое место.

— Так на чем я остановился? — произнес Рэб.

В другой раз Рэб пригласил священника епископальной

церкви выступить у него в синагоге. У Рэба с ним завязались дружеские отношения, и Рэб подумал, что было бы неплохо, если бы представители разных конфессий приглашали друг друга в свои конгрегации.

Была пятница, шла вечерняя служба. После завершения молитв Рэб представил священника членам конгрегации. Священник поднялся на кафедру. Наступила тишина.

— Для меня большая радость быть сегодня здесь с вами, — начал он. — И я благодарен раввину за приглашение…

Вдруг на глаза его навернулись слезы. Он заговорил о том, какой замечательный человек Альберт Льюис. И неожиданно под наплывом чувств у него вырвалось:

— Я вас умоляю, помогите мне уговорить раввина Льюиса признать Иисуса Христа своим Спасителем.

Воцарилось гробовое молчание.

— Он чудесный человек, — продолжал сокрушаться священник, — и я не хочу, чтобы он попал в ад…

Гробовое молчание.

— Пожалуйста, пожалуйста, уговорите его принять Иисуса Христа. Пожалуйста…

Те, кто присутствовал на этой службе, никогда ее не забудут.

А была и другая история, когда во время Великих Праздников в молельный зал влетел один из прихожан Рэба — иммигрант из Германии по имени Гюнтер Дрейфус — и отозвал раввина в сторону. Лицо его было пепельного цвета, голос дрожал.

— Что случилось? — спросил Рэб.

Еще несколько минут назад Гюнтер стоял на улице, наблюдая за тем, как члены конгрегации парковали на улице свои машины, как вдруг из католической церкви вышел священник и заорал:

— Нельзя ставить машины возле моей церкви! Сегодня воскресенье! Мне нужно место для машин моих прихожан! Убрать их отсюда! Евреи, убирайте их все немедленно!

— Но у нас Великие Праздники, — возразил ему Гюнтер.

— Почему их надо праздновать в воскресенье?! — воскликнул священник.

— Эту дату назначили три тысячи лет назад, — ответил Гюнтер.

Будучи иммигрантом, он все еще говорил с немецким акцентом. Священник бросил на него разъяренный взгляд, а потом произнес нечто невероятное:

— Мало вас истребили.

Гюнтер вскипел, — его жена провела больше трех лет в концентрационном лагере. Он готов был наброситься на

священника. Но кто-то, слава Богу, вмешался, и трясущийся Гюнтер вернулся в синагогу.

На следующий день Рэб позвонил католическому архиепископу, возглавлявшему местные церкви, и рассказал ему о случившемся. Днем позже Рэбу позвонил тот самый священник и попросил разрешения прийти поговорить.

Рэб встретил его в дверях своего кабинета и предложил сесть.

— Я хочу перед вами извиниться, — сказал священник.

— Я вас слушаю, — сказал Рэб.

— Мне не следовало говорить того, что я сказал.

— Не следовало, — ответил Рэб.

— У моего архиепископа есть предложение, — сказал он.

— Какое именно?

— В нашей католической школе сейчас идут занятия. И скоро будет перемена…

Рэб внимательно слушал.

Потом он кивнул и поднялся со стула.

Когда двери школы открылись и дети высыпали наружу, они увидели, что священник католической церкви Святой Розы Лима и раввин синагоги Бейт Шолом под руку прохаживаются по школьному двору.

Одни от изумления заморгали.

Другие уставились на них в упор.

Но не было никого, кто не заметил бы этой «прогулки».

Скорее всего выдумаете, что это перемирие выглядело весьма неловко, — двух взрослых людей заставили прогуливаться под руку по школьному двору. Какие у них могут сложиться после этого отношения? Однако со временем Рэб и священник стали приятелями. И много лет спустя Рэба пригласили прийти в эту католическую церковь.

На похороны священника.

— Меня пригласили участвовать в прощальной службе, — вспоминал Рэб. — Я читал по нему молитву. Думаю, что к тому времени он и сам счел бы это не такой уж плохой идеей.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Генри часто говорили: «Иисус тебя любит», и, вероятно, так оно и было, потому что жизнь раз за разом заставляла его убеждаться в этом.

Сидя в тюрьме, Генри настолько преуспел в боксе, что стал победителем среди боксеров тяжелого веса, и настолько преуспел в учебе, что, несмотря на то что в свое время не кончил даже

средней школы, закончил двухгодичный колледж и получил соответствующую степень.

Выйдя из тюрьмы, Генри нашел работу в компании по истреблению домашних вредителей. Он женился на своей давнишней подружке Аннете, и некоторое время они жили вполне приличной жизнью. Аннета забеременела, и Генри надеялся, что родится мальчик.

Как-то вечером Генри вернулся домой и застал Аннету в корчах от боли. Они полетели в больницу. Ребенок родился недоношенным, на три месяца раньше положенного срока, — крохотный мальчуган, весом чуть меньше фунта. Они назвали его Джерелл. Доктора сказали им, что шансов выжить у мальчика почти никаких, но Генри взял его в свою огромную ладонь и поцеловал его ножки.

— Мой сын, — прошептал Генри и, обратив лицо к Богу, стал молить Его о помощи. — Сохрани ему жизнь! Пожалуйста, сохрани ему жизнь!

Пять дней спустя мальчик умер.

Генри и Аннета похоронили его на Лонг-Айленде. И день за днем Генри мучил вопрос: может, смерть мальчика — Божье наказание за его преступления?

Но вскоре Генри одолели горечь и злоба. Его дела пошли под уклон, дом пришлось продать. Когда же Генри увидел, что у его брата, который занимался торговлей наркотиками, стодолларовых купюр больше, чем у него долларовых, он отвернулся от Бога и, забыв, что везение не бывает бесконечным, снова ввязался в преступные дела.

Он стал продавать наркотики: сначала понемногу, потом все больше и больше. Деньги потекли рекой. И Генри, возомнив о себе невесть что, почувствовал себя боссом, стал гордым и заносчивым. Он покупал себе дорогую одежду и стригся у модных дизайнеров. Если к нему обращались с просьбой, он требовал, чтобы проситель становился перед ним на колени. Смягчался он, лишь когда к нему приходили матери с младенцами. За наркотики они готовы были отдать все, что угодно — от купленных только что продуктов до крохотной сережки из уха новорожденной дочки.

— Оставь сережку себе, — бывало, говорил он, протягивая женщине пакетик с наркотиками. — Но она теперь принадлежит мне. Каждый раз, когда будешь приходить ко мне, сережка должна быть у нее в ухе.

К середине 1980-х годов Генри зарабатывал десятки тысяч долларов в месяц. Он продавал наркотики на модных вечеринках, нередко «респектабельным» людям вроде адвокатов и судей, а

как-то раз продал их даже полицейскому. Генри посмеивался над слабостью своих покупателей и наслаждался нежданно-негаданно обретенной властью. Но однажды вечером он допустил весьма распространенную ошибку — непростительную ошибку. Он решил попробовать свой «продукт».

Он подошел к краю пропасти. И соскользнул вниз.

Вскоре Генри пристрастился к своему собственному яду, и теперь ему хотелось лишь одного — забыться в дыму крэка. Иногда он выкуривал тот крэк, который ему положено было продать, а потом в свое оправдание придумывал самые нелепые объяснения.

Однажды Генри выжег сигаретой пятна у себя на руке и уверял потом своих боссов-поставщиков, что его пытали, а потом украли у него наркотики. В другой раз он попросил приятеля прострелить ему ногу, чтобы он мог сказать своим боссам, что на него напали и ограбили. Однако боссы не поверили ему на слово и явились в больницу удостовериться, что он ранен.

Как-то поздним вечером, уже накурившись крэка и решив раздобыть еще денег, Генри с компанией приятелей — среди них были его племянник и муж сестры — забрались в «куп-девил» и покатили в Бруклин в район Кэнарси[12]. Решено было нападать на ничего не подозревающих пешеходов: внезапно останавливать машину, выпрыгивать, требовать денег, отбирать их и тут же смываться.

По улице шла пожилая пара. Генри выскочил из машины и стал размахивать пистолетом у них перед носом.

— Знакомы с этой штукой?! — гаркнул он.

Женщина вскрикнула.

— Заткнись или я продырявлю тебе башку! — заорал на нее Генри.

Мужчина и женщина отдали им и деньги, и часы, и украшения. Генри поглядывал на лица стариков, и неожиданно ему стало не по себе. Он почувствовал укол совести. Но это его не остановило. И вот их «куп-девил» уже несся прочь — по Флэтлэнд-авеню.

Вдруг завыли сирены. Засверкали огни полицейских машин. Генри приказал племяннику не останавливаться. Он открыл окно, и на дорогу полетели украшения, часы, деньги. Даже оружие.

Через минуту их захватила полиция.

В полицейском участке его поставили в шеренгу — для опознания. Он стоял и ждал. Полицейские ввели старика.

Генри понял, что пропал.

Если только старик его признает, ему не миновать

криминального обвинения, суда и пятнадцати лет тюрьмы. Его теперешней жизни конец. Для чего же он всем рисковал? Взял и выбросил все, что было, в помойку.

— Этот? — спросил полицейский.

Генри сглотнул слюну.

— Я не уверен, — пробормотал старик.

Что?!

— Посмотрите на него внимательней, — сказал полицейский.

— Я не уверен, — повторил старик.

Генри не мог поверить своим ушам. Как старик мог его не узнать? Генри размахивал револьвером перед самым его носом.

Поскольку Генри не опознали, его отпустили на все четыре стороны. Он пришел домой. Лег в постель. И сказал себе, что ему помог Господь Бог. Господь к нему милосерден. Господь дает ему еще один шанс. Бог хочет, чтобы он никогда больше не крал, никогда больше не прикасался к наркотикам и никогда больше не терроризировал других людей.

Именно этого, наверное, хотел Бог.

Но Генри и на этот раз Его не послушал.

ГОД 1974-й…

Я учусь в старших классах еврейской школы, На уроке речь заходит о там, как расступилось Красное море. Я зеваю. Что нового об этом можно сказать? Я слышал эту историю уже сотни раз. Через весь класс я устремляю взгляд на девушку, которая мне нравится, и пытаюсь придумать, как бы мне привлечь ее внимание.

— Есть некий комментарий из Талмуда, — говорит учитель.

О, просто замечательно! Сейчас придется медленно, мучительно переводить. Но по мере того как история разворачивается, я начинаю прислушиваться.

После того как племя Израилево благополучно пересекло Красное море, египтяне, пустившиеся за ними в погоню, утонули, а Божьи ангелы уже собрались праздновать победу.

Согласно комментарию, Бог, увидев это, рассердился и сказал примерно следующее: «Прекратите праздновать, ведь и те тоже были моими детьми».

«И те тоже были моими детьми».

— Что вы об этом думаете? — спросил учитель.

Кто-то встает и отвечает. Но я помню, что мне приходит на ум. Я думаю о том, что впервые слышу: Бог любит не только нас, но и наших «врагов».

Много лет спустя я уже не могу вспомнить ни масс, ни имя учителя, ни ту девушку в другом конце комнаты. Но я помню эту историю.

Июль

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ИЗ ВСЕХ ВОПРОСОВ

Рэб объяснил мне, что в каждой беседе участвуют по крайней мере трое: ты, твой собеседник и Бог.

Этот урок, насколько мне помнится, проходил летним днем в его маленьком кабинете, и мы с Рэбом были в шортах. Мои потные голые ноги прилипали к зеленому кожаному креслу, и всякий раз, когда я поднимался с него, оно тихонько «чмокало».

Рэб искал какое-то письмо. Он приподнял блокнот, потом конверт, потом газету. Я знал, что ему этого письма не найти. Похоже, беспорядок в кабинете Рэба стал теперь отчасти образом жизни, некой игрой, вносившей в его бытие своеобразную привлекательность. Поиски продолжались, а мой взгляд вдруг упал на папку, лежавшую на нижней полке, ту самую папку с надписью «Бог». Мы так ее ни разу и не открыли.

— Ах, — сдаваясь, вздохнул Рэб.

— Можно я вас о чем-то спрошу?

— Спрашивай, юный друг, о чем только вздумается, — пропел он.

— Откуда вы знаете, что Бог существует?

Рэб замер. По лицу его пробежала улыбка.

— Отличный вопрос.

Он сжал рукой подбородок.

— И каков же будет ответ? — спросил я.

— Сначала попробуй доказать мне, что Его нет.

— Хорошо, — ответил я. — Попробую. Как насчет следующего: мы живем в мире, где умеют расшифровывать наши гены, где могут скопировать наши клетки, где могут от начала и до конца перекроить твое лицо. Да что там, хирургическим путем тебя из мужчины могут превратить в женщину. С помощью науки можно узнать о сотворении Земли, а с помощью космических кораблей люди изучают Вселенную. Солнце уже больше не загадка, так же как и Луна, которую люди когда-то обожествляли. Мы привезли ее частицы домой, верно?

— Продолжай, — сказал Рэб.

— Так вот, зачем нужно людям в мире, где все эти великие тайны уже разгаданы, верить в Бога, или Иисуса, или Аллаха, или любое другое божественное существо? Разве мы все это не переросли? Разве это не напоминает историю с Буратино? Разве, обнаружив, что он сам умеет ходить, не стал Буратино по-

другому смотреть на Папу Карло?

— Ну и речь, — потерев ладони, проговорил Рэб.

— Вы же сказали «докажи».

— Ну да.

Рэб слегка наклонился вперед.

— Теперь моя очередь. Ты утверждаешь, что ученые в конце концов докажут, что Бога нет, а я на это смотрю по-другому. Не важно, до каких мелких частиц они доберутся, все равно будет что-то, чего они не смогут объяснить. Они не смогут объяснить, кто все это сотворил. И как бы они ни старались подобраться с другой стороны: манипулировать генами, клонировать то и это, продлевать жизнь до ста пятидесяти лет, — рано или поздно люди будут умирать. А что будет происходить потом? Когда жизнь подойдет к концу?

Я пожал плечами.

— Так что?

Он отклонился назад. Улыбнулся:

— Когда ты подходишь к концу, начинается Бог.

Многие великие умы пытались опровергнуть существование Бога. Порой они заканчивали тем, что приходили к абсолютно противоположному выводу. К. С. Льюис, так захватывающе писавший о вере, поначалу никак не мог примириться с самим понятием «Бог» и назвал себя самым унылым неверующим Англии. Великий ученый Луи Пастер пытался опровергнуть существование Бога своими исследованиями и полученными с их помощью результатами, однако, изучив «венец творения», он пришел к совсем иным выводам.

Множество современных книг провозгласили веру в Бога глупостью, мошенничеством, спасительным средством для слабых людей. Я думал, что Рэб находит это оскорбительным, — оказалось, вовсе нет. Он считал, что путь к вере не всегда прямой, не всегда легкий и даже не всегда логичный. Рэб относился с уважением к любому оппоненту, приводившему аргументы, основанные на знаниях, даже если он с этими аргументами не был согласен.

Лично меня интересовали известные писатели и разные другие знаменитости, которые громко заявляли о том, что Бога нет. Как правило, они это делали, когда были здоровы, пользовались популярностью, и люди к ним прислушивались. Но мне любопытно, что они думали, лежа в тиши последних минут своей жизни, когда они уже сходили со сцены, а мир по-прежнему продолжал свое существование. Возможно ли, что в предсмертные минуты страх, видения или запоздалое просветление неожиданно

вселяли им веру в Бога? Кто знает?

Было ясно, что Рэб верил в Бога с самого начала, и тем не менее он не был в восторге от некоторых событий, которые Бог допустил на Земле. Много лет назад умерла его дочь, и это для него было страшным потрясением. И не только это. Возвращаясь домой после посещения прихожан своей синагоги, — в прошлом сильных, здоровых людей, которые теперь беспомощно лежали на больничных койках, — он нередко плакал.

— Кому нужно это страдание? — взывал он к небесам. — Возьми уж их к себе. Зачем им такая жизнь?

Однажды я задал Рэбу самый распространенный вопрос, связанный с верой: «Почему на долю хороших людей выпадают несчастья?» На этот вопрос люди отвечали бессчетное число раз самым различным образом. Отвечали в слезных объятиях, в книгах, в проповедях, на сайтах Интернета. «Бог призвал ее к себе…», «Он погиб на работе, которую любил…», «Она была даром небес…», «Это было испытание…».

Я помню, как сына одного из друзей нашей семьи поразила страшная болезнь. После этого во время любой религиозной церемонии — даже свадьбы — я видел, как его отец стоял в коридоре синагоги, отказываясь входить в комнату, где проходила служба.

«Я не могу больше слышать это», — говорил он.

Он перестал верить в Бога.

Когда я спросил Рэба, почему на долю хороших людей выпадают несчастья, его ответ не походил на все знакомые мне ответы. «Никто не знает», — тихо произнес он. Меня его ответ восхитил. Но когда я спросил его, поколебало ли это его веру в Бога, он твердо сказал «нет».

— Меня не поколеблешь, — сказал он.

— Почему же? Наверное, можно было бы, если б вы не верили во всемогущую силу.

— Как атеисты? — спросил он.

— Ну да.

— И тогда я мог бы объяснить, почему мои молитвы остались без ответа.

— Точно.

Он внимательно посмотрел на меня и глубоко вздохнул.

— У меня когда-то был врач-атеист. Я тебе о нем не рассказывал?

— Нет.

— Этот врач любил тыкать мне в нос моей верой. Он специально назначал мои визиты на субботу, чтобы мне

приходилось звонить секретарше и объяснять ей, почему из-за своих религиозных убеждений я не могу прийти в этот день.

— «Славный» парень, — заметил я.

— Так вот, однажды я прочел в газете, что умер его брат. И я пошел к этому врачу домой выразить свое соболезнование.

— После того как он к вам относился?

— Людям моей профессии месть противопоказана, — сказал Рэб.

Я рассмеялся.

— И вот я прихожу к нему домой. Он видит меня, и я чувствую, что он очень расстроен. Я приношу ему соболезнования, а он, сердито глядя на меня, отвечает: «Я вам завидую». — «Почему вы мне завидуете?» — спрашиваю я. «Потому, что, когда *вы* теряете любимого человека, вы можете проклинать Господа Бога. Вы можете кричать на него. Можете Его во всем винить. Можете требовать ответа: почему такое случилось? Но я-то в Бога не верю. Я — врач. И я не смог помочь своему брату!» В глазах у него проступили слезы. «Кого мне винить?! — спрашивал он меня снова и снова. — Бога нет. Я могу винить только самого себя».

Лицо Рэба сморщилось, словно от боли.

— Это страшное самообвинение, — едва слышно проговорил он.

— Хуже безответной молитвы?

— О да. Намного утешительней считать, что Бог выслушал тебя и ответил «Нет», чем думать, что тебя и выслушать-то некому.

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Ему должно было вот-вот исполниться тридцать — наркоману, преступнику, человеку, лгавшему Богу. У него была жена. Но это его не останавливало. У него была дочь. Но и это его не останавливало. Денег у него больше не было. Приличной одежды тоже. Патлатые волосы торчали во все стороны. Но все это его больше не трогало.

Однажды субботним вечером Генри безумно захотелось накуриться, и он, взяв с собой двух приятелей, покатил в Куинс, в район «Джамайки», где жили те, у кого, насколько он знал, были и деньги, и «дурь», — торговцы наркотиками, прежние его боссы.

Он постучал в дверь. Ему открыли.

Генри вытащил пистолет.

— Ты что? — изумились они.

— Знакомая штука, а? — сказал Генри.

У этого пистолета не было даже курка. Но по счастью, боссы об этом не знали. «Пошли!» — взмахнув пистолетом, рявкнул Генри; и они отдали ему и деньги, и драгоценности, и наркотики.

Возвращаясь с приятелями домой, Генри отдал им и деньги, и драгоценности, — себе он оставил только «дурь». Его тело только ее одну и жаждало. Только о ней и были все его помыслы.

Позднее, ночью, после того как он накурился, нанюхался и к тому же напился, его одолела паранойя. Он вдруг осознал, какую идиотскую ошибку он совершил. Его жертвы прекрасно знали, кто он такой и где он живет. И они, конечно, ему отомстят.

И тогда Генри схватил дробовик, выбежал на улицу и спрятался за помойными баками. Жена, ничего не понимая, с ужасом наблюдала за ним.

— Что случилось? — плача, спросила она.

— Иди в дом и погаси свет! — крикнул ей Генри.

Он увидел, как в дверях появилась дочь.

— Немедля в дом! — заорал он.

Он сидел за баками и ждал. Его пробирала дрожь. У него было ощущение, что от бед ему больше не уйти, что в эту ночь ему придется расплатиться за все. Вот-вот появится машина, и его прошьет автоматная очередь.

И тогда он в последний раз обратился к Богу.

— Иисус, ты спасешь меня? — зашептал он. — Если я пообещаю служить тебе, ты сегодня спасешь меня?

Он задыхался. Он плакал. Если после всех его преступлений ему еще было дозволено молиться, то молился он, насколько мог, искренне.

— Иисус, услышь меня! Пожалуйста…

Он был трудным ребенком.

Подростком-преступником.

Взрослым преступником.

Но может, его еще можно было спасти?

Август

В этой жизни я приемлю единственного тирана — голос совести.

Махатма Ганди

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВОЙНА?

Лето промелькнуло незаметно. В газетах — почти все заголовки либо о войне в Ираке, либо о «сражении» в Алабаме — устанавливать табличку с Десятью заповедями перед зданием суда или нет. Я не только посещал Рэба, но и звонил ему между визитами. Тон голоса у него всегда был приподнятый.

«Говорит Детройт?» — спрашивал он обычно. Или: «Скорая помощь раввина Льюиса. Чем могу быть полезен?»

И мне становилось стыдно за то, как порой *я* отвечал тем, кто мне звонил, — торопливым «привет», да еще таким тоном, будто и *это* я выдавливал из себя через силу. За все время своего знакомства с Рэбом я не помню, чтобы он хоть раз сказал мне: «Можно я тебе перезвоню попозже?» Я им просто восхищался: человек, к которому имело доступ столько людей, умудрялся находить время для *каждого.*

Когда я приехал к Рэбу в конце августа, дверь мне открыла его жена Сара, умная, добрая женщина, прожившая с ним лет шестьдесят, не меньше. Она же провела меня к нему кабинет. Рэб уже сидел там, и, несмотря на летнюю жару, на нем была рубашка с длинными рукавами. Пушок его седых волос был аккуратно расчесан. На этот раз он почему-то не встал поздороваться, а лишь протянул ко мне руки, чтобы обнять меня.

— Вы здоровы? — спросил я.

Рэб взмахнул руками.

— Скажем так: сегодня я не так здоров, как вчера, но-о-о-о… Мне сегодня лучше, чем будет з-а-а-автра…

— Ох, уж это пение, — сказал я.

— А! — рассмеялся он. — Кто песню запоет, а кто ему и подпоет…

Я сел в кресло.

На письменном столе лежала развернутая газета. Рэб старался следить за новостями. Когда я спросил его, сколько

времени, по его мнению, продлится война в Ираке, он пожал плечами.

— На вашем веку было немало войн, — сказал я.

— Да, было.

— В них есть хоть какой-то смысл?

— Нет.

Теперешние войны у нас обоих вызывали особую тревогу. Взрывы самоубийц. Спрятанная под одеждой взрывчатка.

— Все это не похоже на прежние войны, — сказал я, — когда танки одной воюющей стороны шли навстречу танкам другой.

— Но, знаешь, Митч, — заметил Рэб, — даже в этот новый век ужасов люди продолжают проявлять человеческую доброту. Я до сих пор не могу забыть, что однажды увидел, когда поехал навестить свою дочь в Израиле. Я сидел на балконе. Вдруг раздался взрыв. Я повернулся и увидел, что возле ближайших магазинчиков поднимается столб дыма. Это были… эти ужасные… Как их называют…

— Бомбы? В машину подложили бомбу?

— Точно, — сказал Рэб. — Я стремглав выбежал из квартиры, но не успел выйти из подъезда, как передо мной остановилась машина. Из нее выскочил молодой человек в желтом жилете. Я последовал за ним. Мы подошли к месту происшествия и увидели взорванную машину. Женщина ехала в прачечную. Она была одной из убитых.

Раввин сглотнул.

— А там, на улице… Там… на улице… люди подбирали части ее тела. Они собирали все. Очень аккуратно. Руку… Пальцы…

Рэб потупился.

— На них были перчатки, и они внимательно осматривали все вокруг: в одном месте — часть ноги, в другом — кусочек кожи. Они собирали даже кровь. Знаешь почему? По еврейскому религиозному закону все части тела надо захоронить. Эти люди возвышали жизнь над смертью, лаже перед лицом такой… жестокости… потому, что Бог дал нам жизнь. Так как же можно оставить там, на улице, частицу Его дара?

Я слышал об этой группе под названием ЗАКА — волонтерах в желтых жилетах, делавших все возможное, чтобы достойно похоронить погибших. Иногда они появлялись в местах взрыва даже раньше «скорой помощи».

— Когда я увидел это, я заплакал, — сказал Рэб. — Я просто заплакал. Какая доброта. И вера. Собирать останки погибших. В этом суть нашей веры. Нашей прекрасной веры.

Мы молча сидели с минуту-другую.

— Почему люди убивают друг друга? — наконец не выдержал

я.

Рэб прижал пальцы к губам. А потом оттолкнулся и медленно покатился в кресле к книжным полкам.

— Давай-ка здесь поищем кое-что…

Альберт Льюис родился во время Первой мировой войны. В период Второй мировой войны он учился в духовной семинарии. В его конгрегации было множество ветеранов войны и людей, переживших Катастрофу, — некоторые из них были с татуированными номерами на руке.

На его глазах молодые ребята из его конгрегации уходили на Корейскую войну и на войну во Вьетнаме. Муж его дочери и его внуки служили в Израильской армии. Так что о войне он размышлял немало. И о ее последствиях тоже.

Однажды во время поездки в Израиль, после войны 1967 года, Рэб вместе с группой поехал в пограничный район на севере страны. Бродя среди покинутых домов, он обнаружил в руинах одного разрушенного дома на полу в пыли учебник на арабском языке. Перевернутая книжка, без обложки.

Он взял ее с собой.

Теперь она лежала у него на коленях. Именно ее он и искал. Учебник сорокалетней давности.

— Возьми. — Рэб протянул мне учебник. — Посмотри.

Книжка была потрепанная. Переплет ссохся. На последней странице, надорванной и загнутой, были нарисованы девочка, кошка и кролик, раскрашенные цветными карандашами. Учебник явно предназначался для маленьких детей. Он был на арабском, и я не мог понять в нем ни слова.

— Для чего вы его храните? — спросил я.

— Мне казалось, я должен был что-то сохранить.

Большинство религий не поощряет войну, и тем не менее на протяжении истории большинство войн затевалось из-за религии. Христиане убивали иудеев, иудеи убивали мусульман, мусульмане убивали индуистов, индуисты убивали буддистов, католики убивали протестантов, верующие фанатики убивали язычников, и этому списку нет конца. Войны никогда не прекращались; они лишь приостанавливались.

Я спросил Рэба, изменилось ли его отношение к войне и насилию с течением времени.

— Помнишь историю о Содоме и Гоморре? — спросил он.

— Ну да, эту историю я хорошо помню.

— Ты помнишь: Авраам знал, что люди в этих городах были порочны. Он знал, что они совершали злодеяния. И что же он

делает? Он просит Бога не разрушать эти города. Он спрашивает Бога, готов ли тот пощадить эти города, если в каждом из них найдется хотя бы пятьдесят праведников. И Бог соглашается. Потом Авраам опускается до сорока, потом — до тридцати. Он знает, что хороших людей в этих городах немного. И только дойдя до десяти, он сдается.

— Но там не набралось и десяти, — сказал я.

— Да, там не набралось и десяти, — подтверждает Рэб. — Но понимаешь, Авраама вела верная интуиция. Первым делом мы должны выступать против войны, против разрушения и насилия, потому что все это ненормально.

— Но столько раз люди затевали войны во имя Бога!

— Митч, Бог не хочет, чтобы убийства продолжались.

— Тогда почему они продолжаются?

— Потому, что этого хотят люди.

Он, конечно, был прав. То и дело слышится барабанный призыв к войне. Люди жаждут мести. Над терпимостью смеются. Мне всегда объясняли, почему правда на нашей стороне. А в это время в другой стране моего ровесника убеждали в противоположном.

— Я не зря дал тебе эту книжку, — сказал Рэб.

— Какая же на то причина?

— Открой ее.

Я открыл.

— Полистай.

Я пролистал страницы, и из книги выпали три черно-белые поблекшие, в грязных пятнах фотографии.

На одной из них была пожилая черноволосая арабская женщина с видом матроны. На другой — усатый арабский мужчина помоложе, в костюме и галстуке. На последней фотографии рядом стояли двое детей — очевидно, брат и сестра.

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю, — тихо ответил Рэб.

Он протянул руку, и я вложил к нее фотографию детей.

— Все эти годы я смотрю на этих детей, на мать, на сына. Поэтому я и не выбросил эту книжку. Мне казалось, что я должен каким-то образом поддерживать в них жизнь. Я думал: вдруг кто-то посмотрит на эти фотографии и скажет, что знает эту семью. И вернет им эти снимки. Но у меня уже почти не осталось времени.

Рэб вернул мне фотографию.

— Погодите, — сказал я. — Я вас что-то не понимаю. С вашей религиозной точки зрения, эти люди — враги.

— Враги-шмараги, — сердито сказал Рэб. — Это была *семья.*

ИЗ ПРОПОВЕДИ РЭБА, 1975 ГОД

«Человек пришел на ферму в поисках работы. Подает своему новому работодателю рекомендательное письмо. В письме всего одна фраза „Работник во время грозы спит“.

Хозяину отчаянно нужен работник, и он нанимает этого человека.

Прошло несколько недель, и вдруг посреди ночи в долине разразилась сильнейшая гроза.

Разбуженный завыванием ветра и проливным дождем хозяин вскакивает с постели. Он зовет своего нового работника, а тот спит как убитый.

Хозяин бежит к хлеву и, к своему изумлению, видит, что у его скотины достаточно корма, она в полном порядке.

Он бежит в поле и видит, что пшеница связана в снопы, и они обернуты брезентом.

Он бежит к амбару. Двери его плотно закрыты; все зерно сухое.

И тут до него доходит смысл фразы „Работник во время грозы спит“.

Друзья, если мы позаботимся о том, что для нас важно, если будем достойно вести себя с теми, кого любим, если будем соблюдать законы нашей веры, то мы избавим себя от мучительного проклятия незавершенности. Наши слова будут искренни, а объятия крепки. И мы не будем биться в агонии, повторяя: „я мог бы…“, „я должен был…“. Мы можем спокойно спать во время грозы.

А когда придет время, прощание наше будет завершенным».

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Генри Ковингтон в ту ночь так и не уснул.

Но и не погиб.

Торговцы наркотиками, которых он ограбил, по какой-то причине так его и не нашли. И из машин, круживших по его улице, не раздалось ни единого выстрела. Генри, прячась за мусорными баками, сжимал в руке дробовик и снова, и снова повторял свой

вопрос: «Иисус ты спасешь меня?»

Генри следовал печальной традиции — бежать к Богу, когда все вокруг летит в тартарары. Он взывал к небесам и прежде, но как только старые беды оказывались позади, он впутывался в новые.

На этот же раз, когда солнце взошло, Генри Ковингтон спрятал под кровать дробовик и лег в постель рядом с женой и дочкой.

Наступило Пасхальное воскресенье.

Генри стал думать о своей жизни. Он лгал, воровал, угрожал оружием. Он потратил все свои деньги на наркотики. Он вспомнил, как однажды нашел дома крохотный кусочек крэка, но его не в чем было выкурить; и тогда он опустился до того, что принялся рыскать по улицам в поисках оброненного окурка, и не успокоился, пока его не нашел. *На этот* окурок кто угодно мог наступить, на него могла помочиться собака, но все это не имело никакого значения. Он сунул окурок в рот. И получил то, что хотел.

Однако сегодня, пасхальным утром, ему захотелось другого. Он и сам не понимал чего именно. И даже его жена не могла понять, чего он хочет. Заглянул приятель — он принес героин. Глаза у Генри загорелись. Тело его жаждало «дури». Но он знал, что героин его убьет. Он ни на минуту в этом не сомневался. Ночью в темноте, за мусорными баками он пообещал посвятить свою жизнь Иисусу, и это было его первое испытание.

Генри прогнал приятеля.

Потом пошел в ванную комнату, стал на колени и начал молиться. Кончив молиться, он с жадностью выпил бутылку най-куила[13].

На следующий день он выпил еще одну.

А днем позже — еще одну, — все это для того, чтобы заглушить в себе страсть к наркотикам и излечиться от наркомании. И только через три дня он смог проглотить первый кусок. И только через три дня он смог подняться с постели.

Через три дня.

И лишь тогда он открыл глаза.

СЧАСТЬЕ

Рэб открыл глаза.

Он лежал в больнице.

Это было уже не в первый раз. Хотя Рэб нередко скрывал от меня свои недомогания, я знал, что в последние месяцы ему

трудно было стоять и ходить. Он оступился на тротуаре и в кровь разбил себе лоб. Он поскользнулся дома и поранил шею и щеку. На этот раз он упал, поднимаясь с кресла, и с размаху ударился грудью о край письменного стола. Это был не то обморок, не то временная потеря сознания, не то микроинсульт — мимолетный приступ головокружения и потери ориентации в пространстве.

Но что бы это ни было, ничего хорошего оно не предвещало.

И вот теперь я ожидал самого худшего. Рэб в больнице. Обычно это начало конца. Я позвонил Саре и спросил, можно ли мне навестить Рэба, и она великодушно разрешила.

Перед входом в больницу я собрался. Визиты в больницу давались мне нелегко, — меня тяготило все, что им сопутствует. Запах антисептиков. Приглушенное жужжание телевизоров. Задернутые шторы. Нескончаемые стоны с соседней кровати. Я перебывал уже в стольких больницах у стольких людей.

Впервые за долгое время я подумал о нашем договоре.

«Ты не мог бы сказать прощальную речь на моих похоронах?»

Я вошел в палату Рэба.

— А-а. — Он улыбнулся, глядя на меня с подушки. — Посетитель из дальних краев…

И я перестал думать о речи.

Мы обнялись, точнее, я обнял его за плечи, а он коснулся моей щеки, и мы оба сошлись на том, что это наша первая больничная беседа. Больничный халат Рэба слегка распахнулся, и передо мной мелькнула его голая грудь — дряблая кожа и редкие серебристые волосы. Мне стало не по себе, и я поспешно отвернулся.

В палату впорхнула медсестра.

— Как вы сегодня себя чувствуете? — спросила она.

— Я чу-у-увствую, — тихонько запел Рэб. — Я чу-у-у-вствую…

Медсестра рассмеялась:

— Поет и поет. Все время поет.

— Он такой, — подтвердил я.

Меня поражало, как Рэб в любое время мог привести себя в хорошее настроение. Петь медсестрам. Шутить с врачами. Накануне он, сидя в инвалидном кресле, оказался в коридоре, и к нему подошел какой-то сотрудник больницы и попросил его благословить. Рэб положил ему руки на макушку и благословил.

Рэб отказывался погрязнуть в жалости к самому себе. Более того, чем хуже ему становилось, тем больше он прилагал усилий, чтобы никого этим не расстраивать.

Мы сидели в палате, как вдруг на экране телевизора появилась реклама средств от депрессии. На экране печальные

люди одиноко сидели на скамейках или тоскливо глазели в окно.

«Мне все время кажется, что случится что-то плохое…» — слышался голос с экрана.

Потом показали таблетки, какие-то графики, и сразу за этим на экране появились те же самые люди, но выглядели они гораздо веселее.

Мы с Рэбом молча смотрели рекламу, а когда она кончилась, Рэб спросил:

— Как ты думаешь, эти таблетки помогают?

— Возможно. Но не так, как их расписывают в рекламе, — ответил я.

— Нет, не так, как в рекламе, — согласился со мной Рэб.

Радость в таблетке. Так мы теперь и живем. Прозак. Паксил. Занакс. Миллиарды долларов потрачено на их рекламу. И миллиарды потрачено на их покупку. Их принимают даже те, у кого не было никаких серьезных психических травм, а просто подавленное или тревожное состояние. Грусть лечат так, будто это простуда.

Я знаю, что депрессия существует и нередко требует медицинского лечения. Но мне известно и то, что этим словом часто злоупотребляют. Порой то, что называют депрессией, на самом деле — чувство неудовлетворенности, вызванное непомерными требованиями к себе или ожиданием особенных, ничем не заслуженных жизненных благ. Я знаком с людьми, которые невыносимо страдали оттого, что весили больше, чем им хотелось бы, оттого, что у них была лысина, оттого, что их не продвигали по службе, оттого, что они не могли найти идеального партнера, притом что сами были далеки от совершенства. Эти люди считали свое безрадостное состояние болезнью, абсолютно невыносимым для них состоянием. А раз таблетки помогают, надо их принимать.

Но таблетки ничего не меняют в этих ложных по своей сути подходах к жизни: в желании иметь то, чего ты иметь не можешь, в поиске своей ценности в зеркальном отражении, в наслаивании одной работы на другую и изумлении, отчего работа тебя не радует. А раз работа не радует, значит, надо работать еще усерднее.

Мне все это хорошо известно. Я сам через это прошел. Были времена, когда я работал столько, что для сна практически не оставалось времени. Мои достижения громоздились одно на другое. Я отлично зарабатывал. Меня осыпали восторженными похвалами. И чем дольше это продолжалось, тем больше я ощущал внутреннюю пустоту, точно я все с большим и большим

рвением накачивал проколотую шину.

После того как я много времени провел со своим старым профессором Морри, я стал притормаживать. Видя, как он медленно умирает, и поняв, что именно было для него важно в жизни, я ограничил свой аппетит и поубавил прыти.

И тем не менее руля из рук я не выпускал. Я не доверялся ни судьбе, ни вере. Я старался держаться подальше от тех, кто свою повседневную жизнь доверял Божественному провидению и говорил: «Если Богу это угодно, это случится». Я помалкивал, когда люди заявляли, что самое главное в их жизни — отношения с Богом. Мне это казалось нелепым. Я считал, что разбираюсь в жизни намного лучше, чем они. Но если говорить по-честному, счастливее этих людей я себя не чувствовал.

Я заметил, что среди таблеток, которые Рэб теперь принимал в изобилии, не было ни одной для хорошего настроения. Рэб любил улыбаться. Он очень редко сердился. Его никогда не мучил вопрос: «Для чего я рожден?» Он сказал мне, что знает, для чего он рожден, — для того, чтобы помогать другим, для того, чтобы славить Бога, и для того, чтобы почитать мир, в котором он живет, и получать от него удовольствие. Его утренняя молитва начиналась словами: «Благодарю тебя, Господь, за то, что Ты вернул мне душу».

Когда утро начинается с таких слов, все остальное идет как по маслу.

— Можно я задам вам один вопрос?

— Задавай, — ответил Рэб.

— Что делает человека счастливым?

— Ну… — Он обвел глазами палату. — Эта комната, возможно, не самое подходящее место для ответа…

— Это точно.

— С другой стороны… — Он глубоко вздохнул. — С другой стороны, в этом здании перед людьми встают серьезные вопросы. Одни больные поправятся. Другие — нет. Так что, пожалуй, в больнице вполне уместно давать определение этому слову.

— Слову «счастье»?

— Ну да. Общество утверждает, что, для того чтобы быть счастливым, нужно иметь новое *это* и новое *то,* большего размера дом, более престижную работу. Я знаю, что все это ложь. Ко мне за советом приходило множество людей, у которых все это было, но я точно знаю: не это приносило им счастье. Не один брак распался в семьях, где было все, чего только не пожелаешь. Я знал семьи, где люди, у которых были и здоровье, и деньги, беспрерывно ссорились и ругались. Чем больше имеешь, тем, как

правило, большего хочется. А если тебе постоянно хочется большего — быть богаче, красивее, известнее, — ты упускаешь главное. И, насколько мне известно из опыта, счастье к этим людям так никогда и не приходит.

— Надеюсь, вы не станете говорить мне: «Остановись и понюхай розы!»[14]?

Рэб тихонько рассмеялся:

— Розы уж точно будут пахнуть лучше этой палаты.

Вдруг из коридора послышался крик младенца, а за ним поспешное «ш-ш-ш!» — скорее всего его матери.

— Этот ребенок, — заговорил Рэб, — напомнил мне о том, чему учили наши мудрецы. Когда младенец рождается, кулачки его крепко сжаты, верно? Вот так. — Рэб сжал руку в кулак. — А знаешь почему? Потому, что ребенок еще ничего в жизни не понимает и хочет схватить в свой кулак все, что только возможно, как бы говоря: «Мне принадлежит весь мир!» А как умирает старик? С раскрытыми ладонями. Почему? Потому, что жизнь преподнесла ему хороший урок.

— Какой же такой урок? — спросил я.

Рэб протянул ко мне ладони с растопыренными пальцами.

— С собой ничего не унести.

Минуту-другую мы оба неотрывно смотрели на его руку. Она дрожала.

— Заметил? — спросил он.

— Заметил.

— Никак не могу с этим справиться.

Рэб прижал руку к груди. Из коридора послышался скрип тележки. Вслушиваясь в его мудрые, страстные слова, я на мгновение забыл, где мы находимся.

— Так-то вот, — едва слышно проговорил он.

Мне было тягостно видеть его на больничной койке. Мне хотелось, чтобы он вернулся домой — к заваленному бумагами письменному столу, к своей безалаберной одежде.

— Так что, секрет счастья уже найден? — с вымученной улыбкой спросил я.

— Думаю, что да, — ответил он.

— И вы мне его откроете?

— Открою. Ты готов?

— Готов.

— Будь доволен тем, что у тебя есть.

— И это все?

— Будь благодарен.

— И это все?

— Будь благодарен за то, что тебе дано. За любовь, которую тебе дарят. За все, чем одарил тебя Бог.

— И это все?

Он пристально посмотрел на меня. Потом глубоко вздохнул.

— И это все.

КОНЕЦ ЛЕТА

Когда я вернулся домой из больницы, мне позвонила его младшая дочь Гиля. Она была моей ровесницей. Я знал ее еще со школьных лет, но общались мы с ней нечасто. Она была доброй забавной девочкой с твердым независимым мнением. И еще, она очень любила отца.

— Он уже сказал тебе? — мрачно проговорила она.

— О чем?

— Об опухоли.

— О чем?!

— У него в легких опухоль.

— Раковая?

— Он тебе ничего не сказал?

Я тупо уставился в телефонную трубку.

Он не сказал мне ни слова.

ОСЕНЬ

ЦЕРКОВЬ

В центре Детройта наискосок от пустого поля на Трамбэл-авеню стоит церковь. У этого огромного готического здания из красного кирпича и песчаника такой вид, будто оно залетело сюда из какого-то иного века. Остроконечные шпили. Над входом арка. В окнах витражи, на одном из которых апостол Павел спрашивает: «Что же мне делать, чтобы спастись?»

Это здание построили в 1881 году, когда его окружали особняки, в которых жили богатые пресвитериане. Они построили эту церковь для тысячи двухсот членов — самой большой своей конгрегации на всем Среднем Западе. Особняков здесь уже нет и в помине, как и пресвитериан; и в этом бедном, пустынном районе церковь кажется совсем заброшенной. Стены ее облупились. Крыша была перекошена. Часть витражей украдена, и кое-какие окна забиты досками.

Я, бывало, проезжал мимо этой церкви по пути к стадиону Тайгер, знаменитому бейсбольному парку в полумиле от церкви, но никогда в нее не заходил. И никогда не видел, чтобы в нее входили.

По моим представлениям, она была заброшена.

И мне совсем скоро предстояло в этом убедиться.

С того дня, как Рэб удивил меня словами «враги-шмараги», мне пришлось призадуматься над моими собственными предрассудками. По правде говоря, хотя я и не скупился на пожертвования, я всегда мысленно проводил границу между «нашими» и «не нашими» — этническую, культурную, религиозную. Меня, как и многих из нас, учили, что благотворительность начинается со своего «двора», что в первую очередь надо помогать «своим».

Но кто эти «свои»? Я жил вдалеке от родных мест. Я женился на женщине другой веры. Я, белый человек, жил в городе с огромным афроамериканским населением. И хотя, по счастью, я зарабатывал вполне прилично, окружавший меня Детройт катился к банкротству. Ожидание надвигающейся депрессии, на пороге которой находилась вся страна, на наших улицах обосновалось уже довольно прочно. Рабочие места улетучивались с устрашающей скоростью. Неоплаченные дома продавались с

молотка. То тут, то там виднелись заброшенные здания. Наша кормилица, автомобильная промышленность, хирела с каждым днем. И, глядя на захлестывающую волну безработицы и бездомности, становилось страшно.

Однажды вечером я очутился в центре города возле убежища для бездомных христианской миссии спасения, где я решил переночевать для того, чтобы потом описать свой опыт. Я встал в очередь за одеялом и мылом. Мне выделили постель. Я выслушал проповедь пастора об Иисусе Христе и был удивлен, что многие из этих уставших бороться с тяготами жизни людей, уткнувшись подбородком в ладони, внимательно слушали речь о том, как они могут спастись.

Когда мы стояли в очереди за едой, один из мужчин обернулся ко мне и спросил, тот ли я, за кого он меня принимает.

— Тот самый, — ответил я.

Он неторопливо покачал головой.

— Ну? И что же с тобой случилось?

Проведя ночь в этом убежище, я решил создать благотворительный фонд для бездомных. Мы собирали деньги и передавали их в городские убежища. К своему удовольствию, должен признаться, что мы не тратили денег на административные и всякие прочие расходы и давали деньги только тогда, когда точно знали, на что именно их потратят. А это означало, что нам без конца приходилось всюду ездить и во всем разбираться самим.

И вот как-то раз жарким и влажным сентябрьским днем я остановил машину возле старой, облупленной церкви на Трамбэл-авеню. Как мне сказали, пастор этой церкви держал там маленькое убежище для бездомных. Я пришел посмотреть, не нужна ли ему помощь.

Перед церковью на ветру раскачивался светофор. Я вышел из машины и запер ее, щелкнув кнопкой на ключе. Возле стены церкви на складных алюминиевых стульях — вроде тех дешевых, что мы брали с собой на пляж, — сидели мужчина и женщина. Оба афроамериканцы. Они не сводили с меня глаз. У мужчины не было левой ноги. Костыли его стояли рядом, опираясь о стул.

— Я хотел бы поговорить с пастором, — сказал я.

Женщина молча поднялась. Толкнула маленькую, болтавшуюся на петлях дверь красного цвета. Я остался ждать. Одноногий мужчина смотрел на меня и улыбался. На нем были очки, а передних зубов — раз-два и обчелся.

— Жарковато сегодня, — наконец сказал он.

— Да, жарко, — подтвердил я.

Я посмотрел на часы. Потоптался на месте. Вдруг я услышал за дверью какое-то шевеление.

И тут…

И тут ко мне вышел крупный мужчина.

Необычайно крупный мужчина.

Как я узнал позднее, ему было лет пятьдесят; но лицо его, несмотря на жидкую коротко подстриженную бородку, казалось совсем мальчишеским. Ростом он был с баскетболиста и весил фунтов четыреста, не меньше. Тело его каскадами перекатывалось от выпяченной вперед груди к громадному животу, валиком нависавшему над штанами. Руки выпирали из рукавов белой футболки гигантского размера. На лбу блестели капли пота, и он тяжело дышал — как будто только что одолел крутую лестницу.

«Если это Божий человек, — подумал я, — то я марсианин».

— Здравствуйте, — прохрипел он, протягивая мне руку. — Меня зовут Генри.

ИЗ ПРОПОВЕДИ РЭБА, 1981 ГОД

Мне рассказал эту историю армейский священник.

В аэропорту среди скромных пожитков сидела девочка, дочь солдата, — ее отца перевели на службу в отдаленный район.

Сонная, она сидела, прислонясь к тюкам и дорожным сумкам.

Мимо проходила женщина и, увидев девочку, погладила ее по голове.

— Бедняжка, — сказала она. — У тебя даже нет домашнего очага.

Девочка удивленно посмотрела на женщину.

— У нас есть домашний очаг, — сказала девочка. — У нас только нет для него дома.

Сентябрь

ЧТО ЗНАЧИТ БОГАТЫЙ?

Рэб теперь ходил только с ходунком. Стоя на пороге его дома, я слышал, как ходунок, приближаясь к двери, стучит об пол. Был сентябрь. С того визита в больницу прошло три года. Листья уже начинали желтеть. Возле дома я увидел незнакомую машину. Из дома доносилось приглушенное пение: «Я иду-у… подождите… я иду-у-у…».

Дверь отворилась. На пороге стоял Рэб и улыбался. Со времени моего первого посещения он сильно похудел. Руки стали костлявее, а лицо вытянулось. Волосы совсем поседели, а когда-то высокая, стройная фигура согнулась в дугу. Он крепко, обеими руками держался за ходунок.

— Поздоровайся с моим новым компаньоном, — произнес Рэб, потрясая ручками ходунка. — Мы теперь всюду ходим вместе. — Рэб понизил голос. — Никак не могу от него отвязаться!

Я рассмеялся.

— Ну, давай проходи.

Я вошел и встал, как обычно, у него за спиной, а он, толкая ходунок, поплелся к себе в кабинет, где хранились все его книги и папка с надписью «Бог».

Незнакомая машина, как выяснилось, принадлежала его новой помощнице, присланной Рэбу из агентства по охране здоровья. И если он согласился принять эту помощь, значит, тело теперь могло отказать ему в любую минуту, а следовательно, с Рэбом могло случиться все, что угодно. Раковая опухоль в легких никуда не делась. Но врачи считали, что в его возрасте — ему уже было восемьдесят девять — не было смысла идти на риск и удалять ее. Как ни странно, но по мере того как сбавлял обороты Рэб, рак тоже умерял свою агрессивность. Они, словно два усталых бойца, не спеша брели к месту назначения.

Тактично выражаясь, сказали доктора, его возраст скорее всего предъявит свои права раньше, чем это удастся раковой опухоли.

Мы шли по коридору, и я сообразил, почему незнакомая машина мгновенно привлекла мое внимание: с тех пор как я стал навещать Рэба, в этом доме не появилось ни одной новой вещи. Мебель стояла все та же. Ковровое покрытие на полу старое. И все тот же маленький телевизор.

Рэб всегда был равнодушен к вещам.

Да их у него, собственно, почти и не было.

Родился Рэб в 1917 году, и его родители были бедны даже по скромным стандартам того времени. Мать Рэба была иммигранткой из Литвы, а отец, продавец сукна, без конца терял работу. Жили они в Бронксе, в доме, битком набитом жильцами. Ходили полуголодные. Мальчишкой, возвращаясь домой из школы, Рэб всякий раз молился о том, чтобы родители не выставили их мебель на улицу для продажи.

Самый старший из троих детей — после него родились еще сестра и брат, — он с рассвета до заката занимался в религиозной академии — ешиве. В детстве у него не было ни велосипеда, ни приличных игрушек. Иногда мать покупала позавчерашний хлеб, намазывала на него варенье и давала Альберту в придачу к горячему чаю. По воспоминаниям Рэба, это была божественная еда его детства.

Времена Великой депрессии. У Альберта два набора одежды: один для будней, другой — для шаббата. Ботинки — старые, чиненые-перечиненые, и пара носков, которую он стирал каждый вечер. По случаю его бар-мицвы — религиозного посвящения в мужчины — отец подарил ему новый костюм. Он гордился им, как может гордиться новой одеждой только ребенок.

Несколько недель спустя, надев этот самый костюм, Альберт вместе с отцом отправились на трамвае в гости к богатому родственнику — адвокату. Отец вез ему испеченный матерью торт.

Они вошли в дом, и к ним навстречу выбежал троюродный брат Альберта — такой же, как и он, подросток. Увидев Альберта, он вдруг разразился хохотом.

— Это же мой старый костюм! — взвизгнул он. — Идите сюда! Посмотрите! Ал носит мой старый костюм!

У Альберта внутри все оборвалось. До самого ухода он сидел с пунцовым от стыда лицом, не проронив ни единого слова. По дороге домой в трамвае он, едва сдерживая слезы, зло смотрел на отца, который только что поменял торт на полный чемодан одежды. Альберт теперь понял: обычный обмен между богатыми и бедными родственниками.

Когда они вернулись домой, Альберт не мог больше сдерживаться.

— Я не понимаю, — накинулся он на отца. — Ты — человек верующий. Твой двоюродный брат — нет. Ты каждый день молишься. Он — никогда. У них есть все, что ни пожелаешь. А у нас — ничего!

Отец кивнул, а потом ответил слегка нараспев на идиш:

— Бог не принимает случайных решений. Бог не наказывает людей ни с того ни с сего. Бог знает, что Он делает.

Больше они этой темы никогда не касались.

И это был последний раз, когда Альберт Льюис судил о жизни человека по его богатству.

Теперь, семьдесят шесть лет спустя, вещи для Рэба имели настолько ничтожное значение, что дело доходило до смешного. Одевался он так, точно купил все на домашних распродажах. Клетчатые рубашки и ни к селу ни к городу яркие носки, брюки самой дешевой компании «Хабанд», продававшей джинсы из полиэстра, и еще он любил усыпанные карманами жилеты. Такую одежду Рэб просто обожал, — чем больше карманов, тем лучше. Он запихивал в них ручки, листки из блокнота, крохотные электрические фонари, пятидолларовые бумажки, скрепки, карандаши.

Когда дело касалось вещей, он вел себя как ребенок: его не очень волновало, была ли вещь дорогой или дешевой, главное — получить от нее удовольствие, а ***он*** мог получить удовольствие от чего угодно. Кому нужны электронные новинки? Он любил радиобудильники, исполнявшие классическую музыку. Зачем ходить в изысканные рестораны? Его любимым лакомством были крекеры с корицей и печенье с начинкой из арахисового масла. Свое любимое блюдо он готовил так: в овсяную кашу насыпал кукурузные хлопья, добавлял чашку изюма и все это перемешивал. Он обожал покупать продукты, но только те, что были на распродаже — привычка со времен Депрессии, — и его походы в супермаркеты становились легендой. Он часами бродил между рядами продуктов, старательно выбирая нужный товар; а потом у кассы во время шутливой беседы с кассиршей подавал ей купон за купоном и с гордостью подсчитывал сэкономленные деньги.

Рэб без конца забывал про свою зарплату, и его жене приходилось забирать ее самой. Его начальная зарплата в синагоге была всего несколько тысяч в год, но и после пятидесяти лет службы она оставалась неприлично мизерной в сравнении с тем, что получали его коллеги. Он никогда не просил прибавки. Он считал это недостойным. В первые годы службы у него даже не было машины; его сосед Эдди Эделман отвозил Рэба в Филадельфию и высаживал возле метро, чтобы он мог попасть на занятия в Дропси-колледж.

Судя по всему, Рэб считал, что между верой и богатством существует неодолимая неприязнь. Если прихожане синагоги

приносили ему подарок, он советовал пожертвовать его какой-нибудь благотворительной организации. Он ненавидел собирать деньги, так как считал, что религиозному лидеру просить у людей деньги не к лицу. Однажды во время проповеди он сказал, что ему лишь раз в жизни захотелось быть миллионером, когда он представил себе, скольких людей он мог бы спасти от финансовых катастроф.

Рэбу нравились старые вещи. Старые монеты. Старинные картины. Даже его собственный молитвенник был старым и потрепанным. Его страницы были переложены бесчисленными закладками и не рассыпались лишь потому, что были перетянуты круглыми резинками.

— У меня есть все, что нужно, — сказал Рэб, обводя взглядом беспорядочно разложенные на полках вещи. — Для чего гоняться за чем-то еще?

— Ваши слова напоминают цитату из Библии, — сказал я. — «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а потеряет свою душу?»[15].

— Это сказал Иисус.

— Гм, прошу прощения.

— Не извиняйся, — улыбаясь, сказал Рэб. — Хорошо сказано.

ЦЕРКОВЬ

Подсвист проносящихся мимо машин я вместе с пастором Генри Ковингтоном вошел в огромный храм прихода «Я страж брату своему». Величественный старинный зал с высокими сводчатыми потолками, вздымающимися трубами органа, массивной красного дерева кафедрой и балконом, уставленным рядами скамеек.

И несмотря на все это великолепие, церковь явно хирела.

Шелушилась краска на стенах. Потрескалась штукатурка. Деревянные полы обветшали, и, провалившись в колдобину коврового покрытия, можно было запросто вывихнуть лодыжку. Я посмотрел наверх и увидел в потолке дыру.

Огромную дыру.

С десять футов, не меньше.

— Большая проблема, — признался Генри. — Особенно когда идет дождь.

И тут я заметил, что на полу в стратегически важных местах расставлены красные пластмассовые ведра. От потеков воды белая штукатурка побурела. Первый раз в жизни я увидел дыру в потолке храма, и это почему-то напомнило мне корпус корабля,

пробитый пушечным ядром.

Мы присели. Генри — с его необъятным животом, — видимо, для того чтобы сохранить равновесие, уперся локтями в стоявшую перед ним скамью.

— Я не совсем понимаю, для чего вы сюда пришли, — вежливо начал он.

— Вы ведь даете приют бездомным, верно?

— Да, пару раз в неделю, — подтвердил Генри.

— Они тут едят?

— Да, в нашем физкультурном зале.

— И спят?

— И спят.

— Вы это делаете только для христиан?

— Нет, не только.

— Вы стараетесь обратить этих людей в христианство?

— Нет. Мы предлагаем им помолиться. Мы спрашиваем, хочет ли кто-нибудь из них посвятить свою жизнь Иисусу, но мы никого ни к чему не принуждаем. И сюда может прийти любой.

Я кивнул. И рассказал ему о своем благотворительном фонде. О том, что мы, вероятно, сможем ему помочь.

— О! — изумился Генри. — Это было б здорово.

Я огляделся.

— Большая церковь, — сказал я.

— Знаю, знаю, — усмехнувшись, проговорил Генри.

— У вас нью-йоркский акцент, — заметил я.

— Гм. Бруклинский.

— Это ваше первое назначение?

— Первое. Когда я сюда приехал, меня определили дьяконом и смотрителем. Я подметал и мыл полы, пылесосил, чистил туалеты.

Я вспомнил, что и Рэб, когда приехал в нашу синагогу, помогал убирать и сам отпирал и запирал ее. Наверное, так в Божьих людях воспитывается скромность и непритязательность.

— Когда-то, — сказал Генри, — это была знаменитая церковь. Но несколько лет назад ее продали нашему пастырству. На самом деле даже и не продали. Нам сказали: если вы сможете ее содержать, она — ваша.

Я еще раз огляделся.

— А вы еще в детстве решили, что станете пастором?

— Не-е-е.

— А кем вы собирались быть, когда кончили школу?

— Я на самом деле в то время сидел в тюрьме.

— Правда? — как можно небрежнее спросил я. — За что же?

— Ну… Я вообще-то много чего натворил. Торговал

наркотиками, воровал машины. А посадили меня за непреднамеренное убийство. Хотя в нем-то я и не участвовал.

— И как же вы оттуда попали сюда?

— Ну… однажды ночью я думал, что меня убьют парни, которых я ограбил. Тогда я пообещал Богу, что, если доживу до утра, стану Ему служить.

Он помолчал, и мне показалось, будто внутри у него заклокотала старая боль.

— Все это было двадцать лет назад, — сказал Генри и промокнул платком лоб. — Я в жизни много чего повидал. Я знаю, что имел в виду тот, кто сочинил слова песни: «Глори, глори, аллилуйя — сбросил ношу я с себя»[16].

— Это хорошо, — сказал я, понятия не имея, что нужно говорить в подобном случае.

Через несколько минут мы уже двигались к боковому выходу, шагая по грязному, замызганному полу. Мы спустились по лестнице в маленький, тускло освещенный физкультурный зал, где, по словам Генри, спали бездомные.

В тот день я так и не решил: хочу я пожертвовать деньги этой церкви или нет. Я сказал Генри, что снова приду к нему, и мы еще раз побеседуем. По правде говоря, его упоминание о тюрьме меня всерьез насторожило. Я знал, что люди способны измениться. Но я знал и другое: у некоторых эта перемена была не более чем переменой мест.

Зарабатывая спортивным репортерством да к тому же проживая в Детройте, я на своем веку с чем только не сталкивался: и со словесными оскорблениями, и с наркоманией, и с вооруженными нападениями. Я не раз был свидетелем публичных покаяний на пресс-конференциях перед толпой журналистов. Я брал интервью у непревзойденных специалистов убеждать, что все их позорные деяния позади, и, выслушав их покаяния, писал о них хвалебные статьи. А потом несколько месяцев спустя узнавал об их очередных проступках.

В спортивном мире подобных историй было пруд пруди. Но еще большее отвращение я испытывал к лицемерию религиозных деятелей. По телевидению неоднократно выступали евангелисты, которые выпрашивали у публики деньги; потом их арестовывали за непристойное поведение, а вскоре под маской раскаяния они снова выпрашивали деньги. Меня от этого просто тошнило. Однако мне хотелось верить, что Генри Ковингтон не из этой породы, но в то же время я не желал оказаться в дураках.

И потом, что там лукавить, Генри принадлежал совсем к другой вере. И здание было такое ветхое. Такое неустойчивое.

Казалось, что эта церковь оседала даже внутри. По словам Генри, лестница, ведущая наверх, поднималась к этажу, где в комнатах, похожих на студенческое общежитие, обосновались пятеро жильцов.

— В вашей церкви живут люди?!

— Да, несколько человек. И платят мне немного за жилье.

— А из каких средств вы оплачиваете ваши счета?

— Из этих денег в основном и оплачиваю.

— А разве ваши прихожане не платят членских взносов?

— А у нас этих взносов и нет.

— Тогда из каких же денег вам платят зарплату?

— А мне ее и не платят, — рассмеялся Генри.

Мы вышли на улицу. По-прежнему светило солнце. И одноногий сидел на своем прежнем месте. Он посмотрел на меня и заулыбался. Я натужно улыбнулся ему в ответ.

— Что ж, пастор, я вам позвоню, — сказал я.

В чем я не совсем был уверен.

— Будем рады, если вы придете к нам в воскресенье на службу.

— Я не христианин.

Генри пожал плечами. И я не понял, что он хотел сказать этим жестом: «что ж, тогда мы *не будем* вам рады» или «что ж, все равно приходите».

— Вы когда-нибудь были в синагоге? — неожиданно спросил я.

— Был, — ответил он, — подростком.

— По какому же случаю?

Генри потупился.

— Мы ее грабили.

Октябрь

СТАРОСТЬ

Парковка синагоги была битком набита машинами, а те, что не поместились, на полмили вытянулись цепочкой вдоль дороги. Был Йом Кипур — День Искупления — самый важный день в еврейском календаре, тот самый день, когда, как считается, Бог решает, кого записать в Книгу Жизни на следующий год, а кого нет.

Этот и сам по себе торжественный день для Рэба был еще и «звездным часом», — для него он приберегал свои самые лучшие проповеди. После службы по дороге домой люди без умолку обсуждали то, что он говорил о жизни, о смерти, о любви, о прощении.

Но сегодня все было по-другому. В свои восемьдесят девять лет Рэб уже больше не читал проповеди. И не поднимался на кафедру. Он безмолвно сидел среди членов конгрегации, а я разместился неподалеку от него, рядом с отцом и матерью — так, как делал это всю свою жизнь.

Это был единственный день в году, когда я чувствовал себя частью этой общины.

* * *

Во время послеполуденной службы я улучил минуту и пошел повидаться с Рэбом. Я проходил мимо своих бывших одноклассников и с трудом узнавал их; поредевшие волосы, очки, двойные подбородки — откуда что взялось? Они улыбались мне и шепотом здоровались, узнавая меня раньше, чем я их. Неужели в глубине души они считали, что из-за своих успехов я возгордился? А может, они и правы, — мое поведение, похоже, давало для этого повод.

Рэб сидел чуть поодаль от прохода и хлопал в такт молитвенному песнопению. На нем, как обычно, была кремового цвета мантия, и хотя он терпеть не мог пользоваться ходунком на людях, тот стоял неподалеку от него, у стены. Рядом с Рэбом сидела Сара. Заметив меня, она похлопала Рэба по плечу, и он тут же обернулся ко мне.

— А-а, — протянул он. — Из самого Детройта.

Его родные помогли ему подняться.

— Пойдем, поговорим.

Он медленно двинулся к ходунку. Те, кто сидел рядом с ним, потеснились, пропуская его и на случай необходимости подставляя руки. В глазах их светились одновременно и тревога, и благоговение.

Рэб вцепился в ручки ходунка и побрел к выходу.

Двадцать минут спустя после бесконечных остановок и приветствий мы наконец добрались до маленького кабинета, находившегося наискосок от большого кабинета, который он занимал в былые дни. Ни разу в жизни у меня не было личной аудиенции в этот святейший из святых дней года. Я — в его кабинете, а все остальные где-то там. Странное чувство.

— А твоя жена здесь? — спросил Рэб.

— Да, рядом с моими родителями, — ответил я.

— Это хорошо.

Он всегда приветливо относился к моей жене. И никогда не упрекал меня за то, что она была другой веры. И я это ценил.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

— Ох, они велят мне сегодня отказаться от соблюдения поста.

— Кто они?

— Доктора.

— Ну и ладно.

— Вовсе даже не ладно. — Рэб сжал руку в кулак. — Сегодня день поста. Сегодняшний пост — моя традиция. Я хочу делать то, что делал всегда.

Он разжал кулак, опустил руку, и та непроизвольно задрожала.

— Видишь? — прошептал он. — Человеческая проблема. А так хочется от нее отгородиться.

— Вы имеете в виду старение?

— Нет, старение — это не беда. А вот старость — это беда.

Одну из наиболее памятных проповедей — по крайней мере для меня — Рэб произнес после смерти своей единственной старой родственницы — тети. К тому времени его отец и мать уже умерли, а их родители ушли из жизни задолго до этого. Он стоял у могилы своей тети, и вдруг ему пришла в голову простая, но пугающая мысль, — *я следующий.*

Так что же делать, когда смерть, подбираясь все ближе и ближе, подталкивает тебя в первый ряд, и за фразу «моя очередь еще не пришла» уже больше не спрятаться?

И вот теперь Рэб сидел передо мной, сгорбившись над своим письменным столом, а я с грустью думал: сколько же времени в

списке своих родственников он стоит самым первым?

— Почему вы больше не читаете проповедей? — спросил я.

— Мне невыносима мысль о том, что я могу вдруг запнуться, — со вздохом произнес он. — Или на самом важном месте потерять нить рассказа…

— Ну вам не нужно этого стесняться.

— Речь не обо мне, — сказал Рэб. — Речь о моих слушателях. Они увидят меня растерянным… и это наведет их на мысль, что я умираю. А я не хочу их пугать.

Я мог бы и догадаться, что он имел в виду не себя, а нас.

Ребенком я искренне верил, что существует некая Книга Жизни, что в небесной библиотеке лежит этакая огромная пыльная штуковина, и раз в году, в День Искупления, Бог пролистывает ее страницы и гусиным перышком выводит: галочка, галочка, прочерк, галочка… И тебе назначается жить или умереть. Я вечно боялся, что недостаточно горячо молюсь, и, зажмурив глаза, умолял Бога поставить мне галочку.

— Что людей больше всего страшит в смерти? — спросил я Рэба.

— Что страшит? — Рэб на минуту задумался. — Во-первых, неизвестность. Куда мы отправляемся? Попадем ли мы в такое место, которое себе воображали?

— Одного этого уже достаточно.

— Да, но это еще не все. — Он наклонился ко мне и прошептал: — Люди боятся, что их забудут.

Неподалеку от моего дома есть кладбище с надгробными камнями, установленными еще в девятнадцатом веке. Я ни разу не видел, чтобы на этом кладбище кто-нибудь положил на могилу хоть один цветок. Если кто-то туда и приходит, то лишь затем, чтобы бесцельно побродить, почитать надписи на надгробных камнях и воскликнуть: «Ничего себе! Посмотри, какая старая могила!»

Это кладбище пришло мне на ум после того, как Рэб прочитал мне чудесное, хотя и щемящее, стихотворение Томаса Харди. В нем некий человек бродит между могил и разговаривает с погребенными в них мертвецами. И те, кто похоронен недавно, горюют о тех, кто давно уже забыт.

О них почти не вспоминают.
Они как будто и не жили.
Так заново в могиле умирают
Все те, о ком давным-давно забыли.

Заново умирают. В полной безвестности умирают забытые в домах престарелых старики и замерзшие в подворотнях бездомные. Кто скорбит об их уходе? Кто чтит прожитую ими жизнь?

— Однажды в поездке по России, — вспомнил Рэб, — мы набрели на старую ортодоксальную синагогу. А посреди нее стоял одинокий человек и читал кадиш по усопшим. Мы вежливо спросили его, по ком он читает молитву. «Я читаю ее по себе», — ответил он.

Заново умирают. Страшно представить себе: ты умер, и никто о тебе не вспоминает. Может быть, поэтому люди в Америке стараются оставить хоть какой-нибудь да след. Надо обязательно приобрести известность. Как у нас важно стать знаменитым! Чтобы стать знаменитыми, люди поют, чтобы стать знаменитыми, они выставляют напоказ свои тайны, теряют вес, едят насекомых, даже совершают убийства. Молодые люди размещают в Интернете на всеобщее обозрение свои самые сокровенные мысли. Устанавливают у себя в спальнях видеокамеры. Все эти люди словно вопят: «Обратите на меня внимание! Запомните меня!» Но их дурная слава длится мгновения. Их имена растворяются в памяти. И вот о них уже никто не помнит.

— Но как избежать этой повторной смерти? — спросил я Рэба.

— Ну если речь идет о сравнительно коротком времени, — сказал он, — ответ в общем-то прост. Твоя семья. Я, например, с помощью своей семьи надеюсь еще пожить. Пока они обо мне вспоминают, я жив. Пока они обо мне молятся, я жив. Я буду во всех наших общих воспоминаниях и о минутах веселья, и о пролитых слезах. Но это все ненадолго.

— В каком смысле?

— Е-если я про-ожил сто-оящую жизнь, — пропел Рэб. — Обо мне будут помнить те, кто жив сейчас… ну, может, еще и в следующем поколении. А потом уже люди начнут спрашивать: «Как, говорите, его звали?»

Я уже собрался ему возразить, но тут я подумал, что действительно понятия не имею, как звали моих прабабушек. Никогда не видел фотографий своих прадедов. Интересно, через сколько поколений теряется связующая нить даже в семьях, где родственные узы крепче крепкого?

— Поэтому так важна вера, — снова заговорил Рэб. — Это веревка, за которую каждый из нас может ухватиться как на

подъеме, так и на спуске. Обо мне через много лет забудут. Но о том, во что я верил, и о том, чему я учил, — о Боге, о традициях, — об этом будут помнить. Это перешло ко мне от моих родителей, а им от их родителей. И если это передастся моим внукам и их правнукам, тогда мы все…

— Между собой связаны?

— Вот именно.

— Что ж, давайте вернемся на службу, — сказал я.

— Давай. Только подтолкни меня.

Я вдруг понял, что Рэб уже не может подняться с кресла без посторонней помощи, а в комнате не было никого, кроме меня. Как запредельно далеки были те времена, когда с кафедры звучало его громогласное слово, а я сидел в толпе и изумленно слушал! Я отогнал от себя эти мысли, неуклюже пробрался за спинку его кресла, сосчитал «раз… два… три» и осторожно приподнял его за локти.

— А-а-а, — выдохнул Рэб. — Ох уж эта старость.

— Могу поспорить, что вы еще в состоянии закатить такую проповедь…

Рэб ухватился за ручки ходунка. Помолчал.

— Ты думаешь? — тихо спросил он.

— Уверен, — ответил я.

В доме Рэба в подвале хранятся старые кинопленки, на которых сняты Рэб, Сара и вся их семья.

На этой пленке они в 1950-е подбрасывают вверх своего первенца — Шалома.

На следующей — они несколькими годами позже с дочками близнецами Орой и Риной.

А на этой уже в 1960-е везут в коляске свою младшую — Гилю.

И хотя изображение на пленке какое-то зернистое, восторг на лице Рэба — держит ли он своих детей на руках, обнимает их или целует — не спутаешь ни с чем. Он просто создан быть отцом семейства. Он ни разу в жизни не бил своих детей. Очень редко повышал на них голос. Воспоминания складываются из маленьких милых эпизодов: вот он с детьми в послеполуденный час не спеша идет из синагоги домой, а вечером садится с дочерьми и помогает им делать домашнюю работу; а вот они всей семьей за обеденным столом в шаббат ведут неторопливую беседу. Или еще: в летний полдень он через голову бросает сыну бейсбольный мяч.

Однажды он вез маленького Шалома и его друзей из Филадельфии. Перед мостом они подъехали к будке дорожного

сбора.

— А паспорта у вас есть? — спросил мальчишек Рэб.

— Паспорта?!

— Вы хотите сказать, что без паспортов собираетесь переехать из Коннектикута в Нью-Джерси?! — воскликнул он. — Быстро прячьтесь под одеяло! Не дышать! Ни звука!

Позднее, напоминая мальчишкам о происшествии, он подшучивал над ними. На заднем сиденье машины под тем же самым одеялом развернулась и другая семейная история, над которой отец и сын еще долго потом смеялись. Воспоминание за воспоминанием. Так создается история семьи.

Его дети уже взрослые. Сын — авторитетный раввин. Старшая дочь — директор библиотеки. Младшая — учительница. И у каждого из них теперь свои дети.

— У нас есть фотография, где мы все вместе, — сказал Рэб. — Когда я чувствую, что надо мной витает дух смерти, я смотрю на эту фотографию, где все они улыбаются. И говорю себе: «Ал, ты неплохо поработал. Это и есть твое бессмертие».

ЦЕРКОВЬ

Когда я вошел в церковь, меня встретил худощавый человек с высоким лбом, протянувший мне узкий белый конверт на случай, если я захочу сделать пожертвование. Он жестом показал, что я могу сесть где захочу. На улице зарядил косой дождь, стекавший теперь струями в темную дыру в потолке, что маячила у меня прямо над головой. А под дырой установленные на досках красные ведра ловили льющиеся потоки.

Почти все скамьи пустовали. Впереди возле алтаря у переносного органа сидел мужчина и время от времени ударял по клавишам, а вслед за ним для пущего эффекта бил в барабан барабанщик, их непритязательная музыка эхом разносилась по всему огромному храму.

Рядом с ними, раскачиваясь из стороны в сторону, в длинной синей мантии стоял пастор Генри. После нескольких его приглашений я в конце концов решил прийти на службу. Почему, и сам не знаю. Может, из любопытства. А может, просто-напросто для того, чтобы проверить, стоит ли доверять Генри и давать ему пожертвования. К этому времени мы уже не раз побеседовали с ним. И он честно рассказал мне о своем прошлом: о наркомании, о вооруженных нападениях, о тюремном заключении. Честность его, конечно, была похвальна, но, если судить по его прошлому, у меня не было почти никаких оснований вкладывать деньги в его

будущее.

Лицо Генри светилось какой-то грустью и искренностью, а в голосе звучала такая усталость, что казалось, он уже был сыт по горло этой жизнью, или по крайней мере определенными ее ингредиентами. И хотя на ум приходило старое изречение «Никогда не доверяй толстым проповедникам», я был уверен, что Генри не высасывает деньги из своих прихожан. Высасывать-то было нечего.

Генри вдруг поднял глаза и увидел меня. И снова принялся молиться.

В 1992 году Генри послал в Детройт епископ Рой Браун, руководитель нью-йоркской «Международной ассамблеи пилигримов». Браун познакомился с Генри в своей церкви, услышал его историю и стал возить Генри по тюрьмам, чтобы посмотреть, какое впечатление его рассказ произведет на заключенных. И вот, обучив его и произведя в дьяконы, Браун предложил Генри поехать в Мотор-Сити.

Генри не мог отказать Брауну ни в чем. Он перевез свою семью в Детройт, поселился в гостинице «Рамада» и за триста долларов в неделю стал создавать новый «приход пилигримов». Браун подарил ему средство передвижения — старый черный лимузин, на котором Генри по выходным возил епископа, когда тот приезжал в Детройт провести субботнее и воскресное богослужения.

За годы своей службы дьяконом Генри был в подчинении у трех пасторов, и каждый из них обратил внимание на то, что Генри с удовольствием учится и легко сходится с людьми. Его выдвинули сначала в церковные старосты, а потом произвели в пасторы. Но со временем интерес «Пилигримов» к его приходу угас, а епископа Брауна — так же как и его денег — след простыл.

Генри теперь приходилось сражаться с жизнью один на один.

Его дом должен был вот-вот пойти с молотка. За неуплату у него отключили свет и воду. В это время в неухоженной церкви лопались по швам водопроводные трубы и взорвался паровой котел. Тогда же местные торговцы наркотиками уведомили его, что, если он устроит в своей церкви тайный «центр торговли», его финансовые проблемы улетучатся как дым.

Но Генри с подобного рода жизнью покончил.

Он решил ни за что не сдаваться. Он основал приход «Я страж брату своему», попросил Бога помочь ему советом и стал делать все возможное, чтобы удержать на плаву и свою церковь, и свою семью.

Церковь все еще оглашалась звуками органа, когда по полу вдруг застучали костыли, — вперед вышел тот самый одноногий мужчина, которого я встретил в свое первое посещение. Энтони Кастлоу, по прозвищу Касс. Как выяснилось позднее, он был старостой прихода.

— Спасибо, спасибо тебе, Господи. Спасибо, спасибо, спасибо, — повторял он с полузакрытыми глазами.

Кто-то начал в такт его молитве хлопать в ладоши, некоторые выкрикивали что-то нечленораздельное. Время от времени открывались двери, и с улицы доносился шум машин.

— Спасибо тебе, Иисус… Спасибо за нашего пастора, спасибо за этот день…

Я насчитал двадцать шесть человек, все они были афроамериканцами, в основном женщинами. Я сидел позади пожилой прихожанки в платье цвета Карибского моря и такого же цвета широкополой шляпе. По количеству прихожан этой церкви было явно далеко до огромных церквей Калифорнии или даже пригородных синагог.

— Спасибо тебе за этот день, спасибо тебе, Иисус…

Когда староста Касс закончил молитву, он повернулся, чтобы идти на свое место, его костыль запутался в шнуре микрофона и с грохотом упал на пол.

Какая-то прихожанка мгновенно ринулась к нему и подала костыль.

Вдруг наступила тишина.

И тут вперед вышел пастор Генри, — лицо его уже было усыпано бусинками пота.

Как только начинается проповедь, все мое существо в предвкушении занимательного рассказа тут же инстинктивно расслабляется. Так было всякий раз, когда проповедь читал Рэб, так случилось и сейчас. Пока органист доигрывал последние ноты «Божьей Благодати»[17], я по привычке откинулся на спинку деревянной скамьи.

Генри наклонился вперед к своей пастве и на мгновение застыл, словно завершая свои размышления. А потом заговорил.

— Божья благодать, — покачав головой, произнес он. — Божья благода-а-ать.

Кто-то из прихожан повторил: «Божья благодать!» Остальные захлопали. Стало ясно, что это вовсе не та спокойная, вдумчивая аудитория, к которой я привык.

— Божья благода-а-ать, — возопил Генри. — Я мог бы умереть!

— М-м-м! Х-х-м! — гудела в ответ паства.

— Должен был умереть!

— М-м-м! Х-х-м! — гудела паства.

— Я умер бы! Если бы не Его благодать!

— О да!

— Его благодать… спасла негодяя. Я был негодяем. Вы знаете, кто такой негодяй? Я не отлипал от крэка, я был помешан на героине, я был алкоголиком, *я* врал, я воровал. Да, я *все* это делал. Но пришел Иисус…

— Иисус!

— Я называю его величайшим обработчиком вторичного сырья! Иисус… Он приподнял меня. Он преобразил меня. Он подменил меня. Что я без него?..

— О-о-о!

— С ним все совсем по-другому!

— Аминь!

— И вот вчера… вчера, друзья мои, отвалился кусок потолка. Сквозь дыру текла вода… Но знаете что?..

— Скажи нам…

— Знаете, знаете, знаете… как поется в той песне… Аллилуйя…

— Аллилуйя! Пусть будет, что будет, аллилуйя!

Генри захлопал в ладоши. К нему присоединился органист. За ним барабанщик. И покатилось… возле алтаря словно включили прожектор.

— А-а-а-ллилуйя… — пел Генри. — Никогда не прогибайтесь под бедами…

Пусть хоть горе, хоть беда,
Не сдавайся никогда,
Что бы в жизни ни случилось. Аллилуйя!

Пел он прекрасно — чисто, звонко; было лишь чуть странно, что этот громадный мужчина поет таким высоким голосом. И все прихожане мгновенно включились в действо, вдохновенно хлопая, поводя плечами и подпевая, — все, кроме меня. Я же чувствовал себя бездарью, изгнанной из хора за нерадивость.

— А-а-а-ллилуйя!

Как только песнопение закончилось, Генри тут же вернулся к проповеди. Между молитвами, гимнами, выступлениями, обращениями к прихожанам и их ответами, призывами и песнопениями не было никаких промежутков. Все соединялось в одно целое.

— Мы пришли сюда вчерашним вечером, — начал Генри, — просто осмотреться, взять и осмотреться, а штукатурка осыпается,

а краска везде облупилась…

— Верно, верно.

— И слышали мы, как льется вода. И поставили всюду ведра. И я обратился к Господу. И начал молиться. И сказал Ему: «Выкажи нам милосердие Свое и доброту Свою. Помоги нам исцелить дом Твой. Помоги нам хотя бы залатать дыру эту…»

— Верно, верно…

— И минуту-другую был я в отчаянии. Где же мне взять денег залатать ее? И вдруг я замер.

— Верно, верно!

— Я замер потому, что кое-что понял.

— Ну да?

— Богу важно, что мы делаем, а всякие там постройки Богу не нужны.

— Аминь!

— Богу постройки не нужны.

— ТОЧНО!

— И сказал Иисус: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам о себе позаботится». Богу постройки не нужны. Он беспокоится о тебе и о том, что у тебя на сердце.

— Боже наш праведный!

— И если здесь то самое место, куда мы приходим молиться… если здесь то самое место, куда мы приходим молиться… и если это единственное место, куда мы можем прийти молиться…

Он смолк и понизил голос до шепота.

— То для Него это место свято.

— О да!.. Говори, пастор наш, говори!.. Аминь!..

Прихожане встали и принялись восторженно хлопать, благодаря Генри убежденные, что, хотя их церковь скорее всего разваливается, Бог видит их души; и может быть, даже глядит на них сквозь эту самую дыру и помогает им.

Я поднял глаза и увидел, как из дыры в красные ведра капает дождевая вода. А потом я увидел, как Генри в своей огромной синей мантии, все еще продолжая песнопения, медленно отступает назад. Честно говоря, я так и не мог понять, что он за человек: харизматичный, странный, непредсказуемый? Но как бы то ни было, его мать, похоже, была права. Пусть на это ушли годы, он все-таки стал проповедником. Это действительно было ему на роду написано.

Я начал изучать другие религиозные верования. Мне стало интересно, насколько они сходны с моим. Я прочел о мормонах, католиках, суфиях, квакерах.

Мне попался документальный фильм о том, как люди, исповедующие индуизм, празднуют Кумб Мела — паломничество, совершаемое из устья реки Ганг к ее истоку в Гималаях. Легенда гласит: в то время как боги сражались на небесах с демонами, на землю упали четыре капли эликсира бессмертия в четырех разных местах. В эти места и шествуют паломники: омыться в речных водах, смыть свои грехи и обрести здоровье и спасение.

На это празднество собираются миллионы людей. Десятки миллионов. Зрелище поразительное. Танцующие бородатые мужчины, праведники с кольцами в губах и напудренными телами, пожилые женщины, неделями шагавшие по горным тропам, чтобы среди заснеженных вершин прикоснуться к могущественному божеству.

Это самое многочисленное собрание на Земле, во время которого огромное количество народу одновременно совершает обряды своей веры. А большинству людей в моей стране до этого праздника нет никакого дела. В документальном фильме о Кумб Мела говорится как «о событии, где каждый человек, играя маленькую роль, прикасается к чему-то величественному».

Интересно, можно ли сказать то же самое обо мне и моих поездках к старику в Нью-Джерси?

УДАЧНОЕ СУПРУЖЕСТВО

Я почти ничего не рассказал о жене Рэба. А следовало.

По еврейской традиции за сорок дней до рождения мальчика голос с небес возвещает имя его будущей жены. Если так оно и есть, то для Альберта имя Сара выкрикнули в один из дней 1917 гола. Их супружество было долгим и прочным союзом двух любящих друг друга людей.

Они познакомились во время собеседования, — Альберт был тогда директором школы на Брайтон-Бич, а Сара пришла наниматься на должность учительницы английского языка и литературы. На собеседовании они поспорили по некоторым вопросам, и Сара, уходя, подумала: «Ох, не видать мне этой работы». Но Альберт взял Сару на работу и вскоре уже восхищался ее мастерством учителя. Спустя несколько месяцев он пригласил ее к себе в кабинет.

— Вы с кем-нибудь встречаетесь? — спросил он.

— Нет, не встречаюсь, — ответила Сара.

— Отлично. И не встречайтесь. Потому что я собираюсь на вас жениться.

Сара ничем не выдала своего изумления.

— Что-нибудь еще? — спросила она.

— Нет, это все, — ответил Альберт.

— Ладно, тогда я пойду, — сказал она и вышла из кабинета.

Прошли месяцы, прежде чем Альберт, поборов стеснительность, решился вернуться к этому вопросу. Он наконец-то стал ухаживать за Сарой. Пригласил ее в ресторан. Повез на Кони-Айленд. А когда в первый раз решился ее поцеловать, у него началась икота.

Через два года состоялась свадьба.

Они прожили вместе более шестидесяти лет. За это время вырастили четверых детей, одного ребенка похоронили, танцевали на свадьбах у сына и дочерей, горевали на похоронах родителей, радовались семерым внукам, всего два раза переезжали из дома в дом, и, хотя у них нередко возникали споры, они никогда не переставали любить, ценить и поддерживать друг друга. Днем они могли горячо поспорить, даже перестать друг с другом разговаривать, но когда вечером лети тайком заглядывали к ним в комнату, они видели, как родители сидят рядышком на кровати и держатся за руки.

Они были дружной командой. Стоя за кафедрой в синагоге, Рэб мог запросто вызвать ее с места возгласом: «Будьте добры, юная леди, скажите, пожалуйста, как вас зовут?» А она, в свою очередь, как-то раз объявила на всю синагогу: «Я прожила с мужем чудесные тридцать лет и никогда не забуду день нашей свадьбы: третье ноября 1944 года».

— Постойте, какие тридцать лет? — выкрикнул кто-то, мгновенно подсчитав в уме. — Да вы же прожили вместе намного больше!

— Конечно, — отвечала Сара. — Но в понедельник, скажем, наберется чудесных минут двадцать, во вторник, может быть, даже целый час. А сложишь их все вместе, как раз и получатся чудесные тридцать лет.

Все рассмеялись, а Рэб довольно просиял. Когда однажды его попросили составить список того, что необходимо начинающему раввину, он написал: «Найти достойную спутницу жизни».

Он себе такую нашел.

Точно так же, как годы хозяйствования на ферме обучают фермерскому мастерству, годы супружества научили Рэба понимать, что в семейной жизни важно, а что нет. Венчая молодые пары, он за свою жизнь побывал не менее чем на тысяче свадеб, — от самых скромных до самых пышных. Многие пары оказались счастливыми. Но некоторые распались.

— А вы могли предсказать, какой брак окажется удачным, а какой нет? — спросил я.

— Иногда мог, — ответил Рэб. — Если молодые умеют друг с другом общаться, скорее всего брак будет счастливым. Если у них сходные представления о жизни и одинаковые жизненные ценности, скорее всего брак будет прочным.

— А как насчет любви?

— Без нее никак не обойтись. Но с годами она меняется.

— В каком смысле меняется?

— Если любовь не более чем увлечение, — «Ах, он так хорош собой!», «О, она такая красивая!» — любовь недолговечна. Стоит молодым столкнуться с трудностями, ее и след простыл.

Совсем другое дело — истинная любовь, с годами она обычно становится глубже и сильнее. Вроде как в «Скрипаче на крыше»[18]. Помнишь, наверное, как Тевье поет «Ты любишь меня?».

Так я и знал. Во взглядах Рэба на жизнь, как мне кажется, «Скрипач на крыше» играл весьма важную роль. В нем и вопросы религии, и традиции, и община, и отношения мужа и жены — Тевье и Голды, доказавших свою любовь друг к другу делом, а не словами.

— Голда говорит ему: «Как ты можешь спрашивать, люблю я тебя или нет? Посмотри на все, что мы вместе с тобой сделали! Каким *еще словом* это можно назвать?» Такая вот любовь, которую вы на протяжении своей совместной жизни создали своими собственными руками, никуда не уходит.

Рэбу повезло, — у них с Сарой была именно такая любовь. Благодаря преданности и самоотверженности каждого из них она пережила трудности, с лихвой выпавшие на их долю. Рэб не раз повторял новобрачным: «Главная разница между *браком* и *браком* в том, какое значение ты вкладываешь в это слово».

И еще, когда приходилось к слову, Рэб любил рассказывать анекдот о человеке, который пожаловался своему врачу, что его жена, рассердившись, становится историчной. «Вы хотите сказать, истеричной», — поправил его доктор. «Нет, именно историчной, — сказал мужчина. — Она тут же перечисляет *все* истории из нашей совместной жизни, когда я сделал что-то не так!»

Рэб, разумеется, знал, что супружество — «организм» уязвимый и хрупкий. Случалось, что он венчал молодого человека и девушку, потом их брак распадался, и он уже венчал каждого из них с другим партнером.

— Мне кажется, в наше время люди ждут от супружества

слишком многого, — говорил Рэб. — Они ожидают совершенства. Каждая минута их брака должна быть блаженством. Но это встречается только в кинофильмах или телешоу. В жизни все иначе. Сара верно сказала: «Двадцать минут здесь, сорок минут там», а вместе эти минуты выливаются в нечто прекрасное. Трюк заключается в том, чтобы не посылать все к черту, когда что-то не ладится. Нет ничего страшного ни в том, что супруги спорят, ни в том, что один другого беспокоит или понукает. В этом тоже проявляется их близость. Но радость, которую ты получаешь от этой самой близости, — то, что ты чувствуешь, когда смотришь на своих детей или, проснувшись утром, улыбаешься своей жене, и она улыбается тебе в ответ, — эта радость по нашей традиции и есть благословение. А люди об этом забывают.

— Почему же они об этом забывают?

— Потому, что фраза «взять на себя обязательство» приобрела совсем иное значение. Я помню еще те времена, когда ее употребляли в самом положительном смысле. Тем, кто выполнял свои обязательства, восхищались. Это был надежный и преданный человек. Теперь же обязательств стараются избегать. Зачем себя ими связывать? Между прочим, то же самое происходит и с верой. Зачем постоянно посещать службы или выполнять все правила? Это же стесняет. Зачем брать обязательства перед Богом? Мы будем обращаться к Нему, когда Он понадобится нам, или благодарить Его, когда у нас все хорошо. Но брать на себя обязательства? Это требует постоянства и преданности, — как в вере, так и в супружестве.

— А если не брать на себя обязательства? — спросил я.

— Можно и не брать. Но тогда и не получишь того, что к ним прилагается.

— А что к ним прилагается?

— А-а, — улыбнулся Рэб. — К ним прилагается счастье, которого в одиночку не найти.

Несколько минут спустя в комнату вошла Сара, одетая в пальто. Ей, как и мужу, было уже за восемьдесят. Она носила очки, у нее были густые с проседью волосы и обезоруживающая улыбка.

— Ал, я иду в магазин, — сказала она.

— Хорошо. Нам будет не хватать тебя. — Рэб сложил руки на животе, и они с минуту, улыбаясь, смотрели друг на друга.

Я подумал об их преданности друг другу, которой уже перевалило за шестьдесят. И еще о том, как часто ему теперь приходилось на нее полагаться. Я представил, как вечером они сидят на краю постели и держатся за руки. «Счастье, которого в

одиночку не найти».

— Я хотел у тебя что-то спросить… — начал Рэб.

— Спрашивай.

— Ну… я уже забыл.

— Так, — рассмеялась она. — На ваш вопрос я отвечаю: «нет».

— А может быть, все-таки «да»?

— А может быть, и да.

Она подошла к нему и игриво пожала ему руку.

— Что ж, было очень приятно познакомиться.

Рэб рассмеялся:

— И мне тоже.

Они поцеловались.

Не знаю насчет сорока дней до рождения, но в эту минуту я не удивился бы, если бы с небес прокричали их имена.

Ребенком я был уверен, что никогда не женюсь на девушке другой веры.

Став взрослым, я именно так и сделал.

Поженились мы на Карибских островах. На закате солнца. Погода была теплая, ласковая. Ее родные прочли отрывки из Библии. Мой брат и моя сестра спели забавную величальную песню. Я разбил каблуком стакан. Поженила нас местная женщина-судья из магистрата: она произнесла над нами свое собственное благословение.

Исповедуя разные веры, мы пришли к полюбовному соглашению: мы будем поддерживать друг друга, и мы оба будем ходить и на ее, и на мои религиозные обряды и праздники. И хотя во время некоторых из моих молитв она не произносит ни слова, а я молча пережидаю некоторые из ее молитв, мы оба говорим: «Аминь».

И все же время от времени мне бывает не по себе. Когда она чем-то расстроена, то просит помощи у Иисуса Христа, а я слышу ее тихую молитву Ему, и в эти минуты я чувствую отчуждение. Когда женятся люди, исповедующие разные религии, то переплетаются их истории и традиции, а их рассказы о Святом причастии соседствуют с фотографиями, сделанными на бар-мицве. И хотя моя жена порой повторяет: «Я тоже верю в Ветхий Завет, — мы не такие уж и разные», на самом деле — мы разные.

— Вы сердитесь на меня за мою женитьбу? — спросил я Рэба.

— Почему я должен сердиться? — ответил он. — Разве гнев может чем-то помочь? Твоя жена — чудный человек. И, насколько я понимаю, вы друг друга любите.

— Но как это можно примирить с вашим служением?

— Ну, если бы ты однажды пришел ко мне и сказал: «А

знаете, моя жена хочет перейти в иудаизм», я бы не расстроился. А пока что… — И Рэб запел: — А пока что все мы будем жить в согла-асии…

ЖИЗНЬ ГЕНРИ

Время от времени я невольно сравнивал Рэба и пастора Генри. Оба любили петь. Оба умели проповедовать. Пастор Генри, как и Рэб, всю свою карьеру был привязан к одной-единственной конгрегации и всю жизнь был женат на одной и той же женщине. И, как у Альберта и Сары Льюис, у Генри и Аннеты Ковингтон было две дочери и сын; и та, и другая пара потеряли ребенка.

Но на этом сходство между ними не заканчивалось.

Генри, к примеру, встретил свою жену вовсе не на собеседовании. Он впервые увидел Аннету, когда она играла в кости с его старшим братом.

— Эй, шестерка, давай! — выкрикнула она, бросая кости на ступеньку крыльца. — Шестерку! Хочу шестерку!

Аннете тогда было пятнадцать, ему шестнадцать, и он тут же влюбился в нее без памяти, — ну прямо как в мультфильмах, когда стрела амура со свистом пронзает твое сердце! Вы скорее всего сочтете, что игра в кости неромантична и что встретить свою единственную любовь при подобных обстоятельствах не очень-то подобает священнослужителю. Но когда Генри в девятнадцать лет уводили в тюрьму и он сказал Аннете: «Ты вовсе не обязана ждать меня семь лет», она ему ответила: «Даже если бы тебя забирали на двадцать пять, я все равно дождалась бы тебя».

Во время его тюремного заключения Аннета каждый выходной около полуночи садилась в автобус и шесть часов катила в нем на север штата Нью-Йорк. Она приезжала в тюрьму к восходу солнца, и как только начинались часы свиданий, она была рядом с Генри: держала его за руку, играла с ним в карты и беседовала до последней минуты дозволенного свидания. Несмотря на то что Аннета много работала, она почти не пропускала ни одного выходного. Генри ждал этих свиданий, и она знала, что только так может поддержать его дух. Однажды в тюрьме Генри получил письмо от матери, в котором она написала ему: «Если ты расстанешься с Аннетой, то скорее всего найдешь себе другую женщину, но *жены* тебе не найти никогда».

Когда Генри освободили, они поженились, — скромная церемония в церкви Морийя. В то время Генри был стройным, высоким и привлекательным, у Аннеты волосы были уложены в

косички, и на свадебной фотографии она улыбается во весь рот. Сама свадьба проходила в ночном клубе «Созвездие Стрельца». Они провели выходной в гостинице в районе Гармент[19]. А в понедельник Аннета уже вышла на работу.

Ей тогда было двадцать два. Генри — двадцать три. В течение следующего года у них умер ребенок, они потеряли работу, а зимой у них в квартире взорвался паровой котел, и вскоре с потолка уже свисали сосульки.

А потом начались настоящие беды.

Рэб говорил, что хороший брак не разрушат никакие невзгоды, и брак Генри с Аннетой они не разрушили. Но с самого начала этими невзгодами были наркомания и преступления. Все это не имело ничего общего с историей «Скрипача на крыше». И Генри, и Аннета употребляли наркотики, но когда Генри вышел из тюрьмы, оба бросили. Однако, после того как умер их ребенок, в их квартире взорвался паровой котел, Аннета потеряла работу, а Генри — без гроша в кармане — увидел в руках брата, торговца наркотиками, толстую пачку стодолларовых банкнот, они возвратились к прежней жизни и развернулись в ней на полную катушку. Генри продавал наркотики на вечеринках. Торговал ими у себя дома. Скоро покупателей было уже столько, что они ожидали своей очереди на улице за углом и приходили к нему домой поодиночке. Генри с Аннетой стали заядлыми пьяницами и наркоманами и жили в постоянном страхе и перед полицией, и перед своими конкурентами — другими торговцами наркотиками. Однажды вечером манхэттенские торговцы пригласили его прокатиться с ними. Генри был почти уверен, что они его прикончат, а Аннета, на случай если его убьют, приготовилась защищаться с пистолетом в руках.

В ту ночь, когда Генри прятался за мусорными баками, он понял, что докатился до дна не только он, но вместе с ним и Аннета.

— Что мешает тебе обратиться к Богу? — спросил ее Генри в то пасхальное утро.

— Ты, — призналась она.

В ту же неделю они с Аннетой избавились от оружия, наркотиков и всего прочего, что было связано с преступной торговлей. Они стали ходить в церковь, а по вечерам читать Библию. Они старались не поддаваться временным слабостям и помогали друг другу с ними справляться.

Но вот через несколько месяцев после начала их новой жизни, как-то утром, почти на рассвете, к ним в дверь постучали. За дверью послышался мужской голос: незнакомец говорил, что

хочет купить «продукт».

Генри, не вставая с постели, крикнул, что он больше этим не торгует. Незнакомец не сдавался. Генри опять закричал: «Здесь ничего больше нет!» Незнакомец принялся колотить в дверь. Генри встал с постели и, завернувшись в простыню, подошел к двери.

— Я же сказал…

— Ни с места! — рявкнул голос.

Перед Генри стояли пятеро полицейских с оружием наготове.

— Посторонись, — приказал один из них.

Они ворвались в комнату. Велели Аннете не двигаться. И предупредили Генри и Аннету, что если у них в доме хранится хоть что-нибудь незаконное, то лучше в этом сразу признаться. Переворачивая все вверх дном, полицейские принялись обыскивать квартиру. Генри знал, что в доме ничего незаконного не осталось, и все же сердце его колотилось, как бешеное. А вдруг что-то да есть? Он оглядел комнату: тут ничего, там — ничего…

О Господи!

У него перехватило дыхание, будто в горле застрял бейсбольный мяч. На столике возле кровати одна на другой лежали две тетради в красных переплетах. В одной тетради были цитаты из «Книги притчей Соломоновых», которые он каждый вечер в нее выписывал. А во второй, более старой, — имена сотен торговцев наркотиками, их совместные сделки и суммы выплат.

Генри достал эту старую тетрадь, чтобы уничтожить ее. Теперь она вот-вот могла уничтожить его самого. Полицейский подошел к столику, взял в руки одну из тетрадей и открыл ее. У Генри подкосились ноги. Бешено застучало сердце. Полицейский все еще водил глазами по странице. Потом он бросил тетрадь на пол и двинулся дальше.

Притчи Соломона его явно не интересовали.

Через час, когда ушла полиция, Генри и Аннета схватили старую тетрадь, немедленно сожгли ее и долго благодарили Бога.

Как поступили бы вы, если бы услышали от вашего священнослужителя подобные истории? С одной стороны, я восхищался честностью Генри, а с другой — задавался вопросом: какое право имеет Генри быть пастором после всего, что он совершил? И тем не менее я уже не раз слышал, как Генри цитирует «Деяния апостолов», «Благословение», «Притчи Соломоновы», «Книгу Эстер» и Иисуса, говорившего своим ученикам: «Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Молитвенные песнопения Генри захватывали и вдохновляли. И когда бы я ни пришел в церковь, он всегда был там: либо на

втором этаже в своем кабинете — длинной узкой комнате со столом для заседаний, оставленным ему в наследство прежними жильцами, — либо в маленьком, тускло освещенном спортивном зале. Однажды я приехал без предупреждения, вошел в церковь и увидел, что Генри сидит с закрытыми глазами, скрестив руки, и молится.

До наступления холодов Генри время от времени жарил что-нибудь на стоявшем рядом с церковью гриле: то курицу, то креветок, — что прихожане пожертвуют, то он и жарил. А потом отдавал это тому, кто голоден. Иногда он даже читал проповеди, стоя на низкой железобетонной стене через дорогу от церкви.

— На этой стене я несу людям слово Божье ничуть не реже, чем в церкви, — заметил как-то раз Генри.

— В каком это смысле? — спросил я.

— Ну, некоторые люди не решаются войти в церковь. Может, чувствуют свою вину за какие-нибудь грехи. Вот я и выхожу на улицу — приношу им бутерброды.

— Вроде как визит на дому?

— Ну да. Только у большинства из них никакого дома нет.

— Среди них есть наркоманы?

— О да. Так же как и среди тех, которые приходят в церковь по воскресеньям.

— Не может быть! И они в таком виде приходят к вам на службу?

— Угу. Я смотрю им прямо в глаза. А голова у них туда-сюда, туда-сюда. И тогда я себе говорю: «Ну, эти приняли что-то крепкое».

— И вас это не смущает?

— Ни капли. Знаете, что я им говорю? Мне все равно, пьяные вы или наелись «колес», мне все это без разницы. Когда я заболеваю, то иду в «Скорую помощь». И если мне снова становится плохо, иду туда снова. Так вот, от чего бы вы ни страдали, приходите в эту церковь, как в «Скорую помощь». И не бросайте. Приходите, пока не поправитесь.

Я вгляделся в широкое с мягкими чертами лицо Генри.

— Можно вас кое о чем спросить? — сказал я.

— Спрашивай.

— Что вы украли в той синагоге?

Генри выдохнул и рассмеялся:

— Веришь или нет — конверты.

— Конверты?

— Ну да, конверты. Я тогда был подростком. Другие парни постарше вламывались туда и прежде и воровали всякое там ценное. А я нашел только коробку с конвертами. Я схватил ее и

убежал.

— А вы помните, что вы с этими конвертами сделали?

— Нет, — ответил Генри. — Не помню.

Я внимательно посмотрел на него, окинул взглядом помещение церкви и подумал: интересно, может ли хоть один человек на свете до конца понять смысл того, что делает другой?

Я приношу домой коробку со старыми проповедями Рэба. Пролистываю их. Натыкаюсь на проповедь под названием «Цель синагоги», написанную в пятидесятые годы, и еще одну проповедь — шестидесятых годов под названием «Разрыв поколений».

На глаза мне попадается проповедь «А капли дождя все капают мне на голову». Эта написана в конце семидесятых. Я начинаю ее читать. И не верю своим глазам.

В этой проповеди Рэб просит членов своей синагоги помочь ему с починкой крыши.

«После каждого дождя наша крыша льет горючие слезы» — написано в проповеди. А дальше Рэб рассказывает о том, что как-то раз он сидел в синагоге, и прямо перед его носом с потолка свалилась промокшая плита и лишь по чистой случайности не пробила ему голову, а во время обеда после одной из свадебных церемоний протекший сквозь крышу дождь залил курицу непрошеной «подливой». И еще: во время утренней службы ему пришлось схватить метлу, чтобы отколоть плиту, готовую вот-вот сорваться с потолка, и через дыру тут же хлынули потоки дождя.

В своей проповеди он взывал к членам синагоги помочь ему заплатить за починку крыши, чтобы сохранить в их молельном доме — в прямом смысле слова — крышу над головой.

Я подумал о пасторе Генри, о дыре в крыше его церкви и впервые увидел между двумя конгрегациями некую связь. Городская церковь. Пригородная синагога.

Разница, правда, в том, что наша конгрегация на починку крыши деньги собрала, а у прихожан Генри и попросить-то было нечего.

Ноябрь

НОЯБРЬ ТВОЯ ВЕРА, МОЯ ВЕРА

Однажды, когда я был еще подростком, Рэб произнес проповедь, которая меня очень повеселила. Он прочитал нам благодарственное письмо от другого священнослужителя. Письмо это вместо подписи заканчивалось словами «Да благословит Вас ваш Бог и наш Бог».

Меня позабавила мысль о том, что два всемогущих бога подписывают одно и то же послание. Я был тогда слишком молод, чтобы понимать оттенки религиозных различий.

Но когда я переехал на Средний Запад, в ту часть Америки, которую некоторые называют «Северным библейским поясом», вопросы религиозных различий обернулись для меня серьезной проблемой. Незнакомые люди в продовольственном магазине говорили мне: «Да благословит вас Господь!» А я терялся и не знал, что ответить. Я интервьюировал спортсменов, которые приписывали свои удачные броски или удары «Господу и Спасителю своему Иисусу Христу». Я работал волонтером на самых разных проектах и с индуистами, и с буддистами, и с католиками. А так как в Детройте и его пригородах, как утверждают, проживает самое многочисленное в мире, — если не считать Ближнего Востока, — арабское население, то без конца приходилось решать мусульманские вопросы, включая спор об адхане — призыве к молитве в местной мечети, построенной в районе, где в основном живут поляки и где уже звонили их собственные церковные колокола.

Короче говоря, выражение «Да благословит Вас ваш Бог и наш Бог», — как и представление о том, чей бог кого благословляет, — из забавного превратилось в спорное, а из спорного — в сеющее вражду. И если разгоралась дискуссия, я теперь все больше помалкивал. Или даже отходил в сторонку. Мне кажется, так частенько поступают те, кто принадлежит к религиозному меньшинству. И то, что я удалился от своей веры, в какой-то мере объяснялось тем, что я не хотел все время за нее заступаться. Причина, если вдуматься, довольно жалкая, но что было, то было.

Как-то раз в воскресенье, почти перед самым Днем благодарения, я сел на поезд в Нью-Йорке и приехал к Рэбу. Я вошел в дом, обняв, поздоровался с ним и двинулся следом за

стариком и его клацающим по полу ходунком к нему в кабинет. Впереди к ходунку теперь была прикреплена корзиночка, в которой лежало несколько книг и еще почему-то ярко-красные маракасы.

— Я заметил, что если ходунок выглядит, как тележка для покупок, — лукаво произнес Рэб, — он меньше смущает окружающих.

Просьба Рэба о прощальной речи уже засела у меня в голове, как университетская курсовая работа. И в дни моих посещений я думал, что времени у меня тьма-тьмущая, а иногда казалось, что остались считанные недели, а может, и считанные дни. Сегодня Рэб выглядел очень прилично: взгляд у него был ясный, голос звонкий, и это меня успокоило. Как только мы уселись, я рассказал ему о благотворительном фонде для бездомных и о том, как провел ночь в миссионерском убежище.

Я не был уверен, что стоило рассказывать раввину о христианской миссии, и едва я о ней упомянул, мне стало стыдно, — будто я предатель. Мне вспомнилось, как однажды Рэб рассказал мне о том, как он повел свою бабушку-иммигрантку на бейсбольную игру. Когда в разгар игры все вокруг повскакивали с мест и, радуясь хоум-рану, принялись восторженно вопить, бабушка осталась безмолвно сидеть на своем месте. Он повернулся к ней и спросил, почему она не хлопает такому отличному удару. А она ответила ему на идиш: «Альберт, в этом есть для нас какая-то польза?»

Но я зря волновался. Рэбу такого рода рассуждения были несвойственны.

— Наша вера поощряет благотворительность и помощь бедным, — сказал он. — И благотворительность праведна, независимо от того, кому ты помогаешь.

* * *

А потом у нас завязалась дискуссия по одному из самых важных вопросов. Как могут различные религии мирно сосуществовать друг с другом? Если у людей одной религиозной группы есть определенные верования, а у людей другой религиозной группы они совсем иные, кто из них прав? И есть ли у людей хоть какой-нибудь религии право — или даже обязанность — обращать в свою веру людей других вероисповеданий?

Рэба эти вопросы не оставляли в покое всю его профессиональную жизнь. Он вспоминал, что в начале 1950-х

годов дети из его конгрегации, перед тем как сесть в школьный автобус, обертывали свои еврейские книги в коричневые бумажные обложки. «Не забывай, что в те времена в наших краях некоторые впервые в жизни увидали евреев».

— И что? Случались какие-нибудь забавные истории?

— О да, — тихонько рассмеялся Рэб. — Помню, как ко мне пришел один из членов нашей конгрегации, расстроенный тем, что его сыну, единственному еврейскому ребенку в классе, дали роль в рождественской пьесе. И не просто роль, а роль Иисуса.

— Я пошел к учительнице. Я объяснил ей, в чем заключается проблема. А она мне говорит: «Рэбе, но мы именно поэтому его и выбрали. Иисус ведь был евреем!»

В моей памяти тоже застряли кое-какие происшествия. В младших классах школы меня не взяли в грандиозную, красочную рождественскую постановку не то под названием «Бог, господа, велит вам веселиться», не то «Звените, колокольчики»[20]. Вместо этого я с маленькой группой еврейских ребят должен был петь на сцене ханукальную песню «Дрейдл, дрейдл, дрейдл[21], я слепил его из глины». Мы, держась за руки, водили по сцене хоровод, изображая вертящийся волчок. У нас не было ни костюмов, ни реквизита. А в конце песни мы все падали на пол. Могу поклясться, что в зале некоторые родители нееврейской национальности едва сдерживали смех.

Разве возможно выиграть религиозный спор? Чей Бог лучше? Кто правильно трактует Библию? Мне больше по душе такие люди, как индийский поэт Раджхандра, оказавший влияние на Махатму Ганди, — он считал, что ни у одной религии нет превосходства над другими, так как каждая из них приближает человека к Богу, — или, как сам Ганди, который мог прервать пост индуистской молитвой, мусульманской цитатой или христианским гимном.

Всю свою жизнь Рэб был истинно верующим человеком, но никогда и никого не пытался обратить в свою веру. Иудаизм вообще не стремится обращать в свою веру. Даже когда кто-то сам хочет перейти в иудаизм, по еврейской традиции его стараются отговорить, подчеркивая последующие за этим трудности и страдания, перенесенные евреями в прошлом.

Но подобный подход свойствен далеко не всем религиям. На протяжении веков миллионы людей были убиты лишь за то, что они не желали отречься от своего вероисповедания, перейти в другую веру и поклоняться другому Богу. Знаменитого ученого второго века Рабби Акиву римляне до смерти замучили пытками за его отказ бросить свои религиозные занятия. Римляне сдирали

ему кожу железными расческами, а Акива шептал слова молитвы «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». На слове «один» Акива скончался.

Эта молитва — так же как и слово «один» — была неотъемлемой частью верований Рэба. Один-единственный Бог. И одно созданное Богом человеческое существо — Адам.

— Митч, ты когда-нибудь задавался вопросом: почему Бог создал только одного человека? — вертя пальцем перед моим носом, сказал Рэб. — Почему Бог, если он хотел, чтобы появились все эти ссорящиеся между собой религии, не организовал все это с самого начала. Он создал деревья, верно? Не одно дерево, а бесчисленное множество деревьев. Почему он не сделал того же самого с людьми? Потому, что мы все ведем начало от одного человека, а он ведет свое начало от одного Бога. В этом вся суть.

— Почему же тогда в мире нет гармонии? — спросил я.

— Хорошо, скажи мне: ты хотел бы, чтобы все люди на свете были одинаковыми? Нет. Гениальность устройства мира в его разнообразии. В нашей собственной вере есть нерешенные вопросы, есть интерпретации, есть споры. И в христианстве, и в других религиях тоже есть споры и интерпретации. В этом-то вся прелесть. Возьмем, к примеру, музыку: разве можно играть все время одну и ту же ноту? Да от этого сразу же свихнешься. Музыка — это сочетание *разных* нот.

— Музыку чего?

— Веры в то, что есть что-то более великое, чем ты.

— А что, если человек другой веры не признает твою или даже захочет тебя убить лишь за то, что ты не исповедуешь его веру?

— Тогда дело не в его вере, а в ненависти. — Рэб вздохнул. — Знаешь, что я думаю? Я думаю, что, когда такое случается, Бог, там наверху, льет слезы.

Рэб закашлялся. А потом для убедительности улыбнулся. Теперь ему дома все время кто-нибудь помогал: то высокая женщина из Ганы, то дородный иммигрант из России. А по выходным приходила милая женщина по имени Тила родом из Тринидада, — она исповедовала индуизм. Тила помогала Рэбу одеваться, делать легкую зарядку, а еще она готовила ему еду и возила в продуктовый магазин и синагогу. Иногда по дороге она слушала в машине индуистскую религиозную музыку. Рэбу эта музыка нравилась, и он просил Тилу переводить ему текст. Когда Тила объясняла принятое в ее религии понятие о переселении душ, он задавал ей множество вопросов и извинялся, что за всю

свою жизнь не удосужился как следует разобраться в индуизме.

— Как это вам, раввину, удается оставаться таким непредубежденным? — спросил я.

— Послушай, я знаю, во что я верю. Это у меня в душе, и все тут. Но я неустанно повторяю людям моей религии: мы обязаны быть убеждены в истинности нашей веры, но при этом мы не должны возгордиться и считать, что знаем все на свете. А поскольку мы всего на свете не знаем, нам следует признать тот факт, что другие могут верить во что-то иное. — Рэб вздохнул: — Я, Митч, в этом деле неоригинален. Многие религии учат любить своего ближнего.

Я вдруг подумал о том, что Рэб меня просто восхищает. Никогда в жизни я не слышал, чтобы он — даже один на один — нападал на чужую религию или говорил гадости о чужом вероисповедании. И я осознал, что сам-то, когда речь заходила о вере, вел себя довольно трусливо. Я должен был меньше бояться и достойно нести свою веру. Если *единственный* недостаток Моисея, или Иисуса, или Великого поста, или церковных песнопений, или исповеди, или мечети, или Будды, или реинкарнаций в том, что они не имеют ничего общего с твоей верой, то проблема скорее всего не в них, а в тебе.

— Можно мне задать еще один вопрос? — спросил я Рэба.

Он кивнул.

— Если человек другой веры говорит мне: «Да благословит вас Бог!», что я должен ответить?

— Я бы сказал: «Спасибо. И вас тоже».

— Ну да?

— А почему бы и нет?

Я уже приготовился ему ответить, как вдруг понял, что ответить мне в общем-то нечего. Ну, просто абсолютно нечего.

Я читаю буддийские рассказы и притчи.

Одна из притч о крестьянине, который проснулся рано утром и обнаружил, что у него сбежала лошадь.

> Проходит мимо сосед и говорит: «Плохи твои дела. Такое невезение».
>
> Крестьянин отвечает: «Может быть, и невезение».
>
> На следующий день лошадь возвращается и приводит с собой еще несколько лошадей. Сосед поздравляет крестьянина с удачей.
>
> — Может быть, и удача, — говорит крестьянин.
>
> Вскоре сын крестьянина, упав с одной из новых

лошадей, ломает ногу. И сосед выражает крестьянину свои соболезнования по поводу несчастья.

— Может быть, и несчастье, — отвечает фермер.

На следующий день армейские рекруты приходят забирать его сына в армию, но не забирают потому, что у него сломана нога. Все вокруг радуются, считая, что это большая удача.

— Может быть, и удача, — говорит крестьянин.

Подобные рассказы я уже слышал и раньше. Они впечатляют своей простотой и отрешенностью их героев от мира. Но интересно, хотел бы я сам быть таким безучастным свидетелем событий? Не знаю. Может быть, и хотел. А может быть, и нет.

ЧЕГО МЫ ТОЛЬКО НЕ НАХОДИМ…

Выйдя от Рэба, я поехал в синагогу поискать информацию о доме, в котором она располагалась в самом начале, в 1940-е годы.

— У нас скорее всего хранятся об этом записи в картотеке, — ответила мне по телефону секретарша.

— Я и не знал, что у вас есть картотека, — сказал я.

— В этой картотеке есть записи обо всем. И о вас тоже.

— Вот это да! А можно на них взглянуть?

— Если хотите, вы можете их забрать.

Я вошел в вестибюль. Занятия в религиозной школе еще продолжались, и вокруг было полным-полно детей. Девочки, еще не вошедшие в подростковую пору, смущенно и неуклюже скакали вприпрыжку по вестибюлю, а мальчишки гоняли по коридору, то и дело хватаясь за голову, чтобы придержать соскальзывающую с нее кипу.

Ничего не изменилось. Обычно в такие минуты я испытывал чувство превосходства. Я взлетел высоко, а эти несчастные провинциальные дети продолжают делать то же самое, что когда-то делали мы. Но на этот раз, не знаю уж почему, я почувствовал лишь пустоту и отстраненность.

— Здравствуйте, — сказал я сидевшей за письменным столом женщине. — Меня зовут…

— Будет вам, мы знаем, кто вы такой. Вот ваша папка.

Я растерянно заморгал. Как мог я забыть, что моя семья принадлежала к этой синагоге уже лет сорок, не меньше?

— Спасибо, — сказал я.

— Ну что вы, какие пустяки, — ответила женщина.

Я взял свою личную папку и отправился домой, или, вернее, в то место, которое я теперь называл домом.

В самолете я откинулся на спинку сиденья, открыл папку и снял резинку с вложенных в нее листков. А потом ни с того ни с сего стал размышлять о той жизни, которую вел после того, как уехал из Нью-Джерси. Мечта моей юности «стать гражданином мира» до какой-то степени сбылась. У меня есть приятели в самых разных часовых поясах. Мои книги переведены на иностранные языки. И за эти годы я не раз менял место жительства.

Но можно прикоснуться к чему угодно и ни с чем не быть связанным. Я знал аэропорты лучше, чем район, где живу. Я знал имена множества людей, которые живут в самых разных частях страны, но понятия не имел, как зовут тех, кто живет со мной по соседству. Для меня единственной «общиной» была моя рабочая среда. Друзей я приобрел на работе. Разговоры мы вели о работе. И мое общение с людьми в основном было связано с работой.

А в последние месяцы моя рабочая среда потихоньку разваливалась. Моих приятелей одного за другим увольняли. Или сокращали им рабочие часы. И они, получив «выкуп», уходили. Закрывались офисы. Я звонил коллегам по телефону, а мне отвечали, что они там больше не работают. А потом я получал от них электронные письма, в которых они писали, что ищут новые «увлекательные возможности». В «увлекательность» этих новых возможностей верилось с трудом.

И вот теперь, когда работа нас больше не связывала, ослабевала и наша привязанность друг к другу, — словно у магнитов, потерявших свое притяжение. Мы обещали поддерживать прежние отношения, но обещаний своих не сдерживали. Некоторые вели себя так, будто безработица была заразной болезнью. Как бы то ни было, все то, что объединяло нас на работе — жалобы, сплетни и прочее, — исчезло. О чем же теперь можно было говорить?

Я вытряхнул на откидной столик содержимое моей папки и обнаружил табели, старые сочинения и даже текст пьесы о царице Эстер, сочиненной мной в четвертом классе религиозной школы.

Мордехай. Эстер!

Эстер. Что, дядя?

Мордехай. Иди во дворец!

Эстер. Но мне нечего надеть!

* * *

Еще в папке лежали копии поздравительных писем Рэба — некоторые были написаны от руки, — поздравления с моим поступлением в колледж, с помолвкой. Мне стало стыдно. Посылая эти письма, Рэб старался поддерживать со мной отношения, а я даже не помнил, что их получал.

Я подумал: с кем в этой жизни я связан? Вспомнил своих приятелей с работы: и тех, кого уволили, и тех, кто ушел по болезни. Кто их утешал? К кому они обратились за помощью? Не ко мне. И не к своим прежним начальникам.

Похоже, им помогали их церкви и синагоги. Члены общины собирали для этих людей деньги. Готовили им еду. Давали средства на оплату счетов. И делали все это с сочувствием, любовью и пониманием того, что именно так и должна религиозная община поддерживать человека в беде. О такой общине говорил Рэб, к такой общине в свое время принадлежал и я, сам того даже не осознавая.

Самолет приземлился. Я собрал листки, перевязал их резинкой, и мне вдруг стало грустно. Так иногда случается, когда, возвратившись из путешествия, неожиданно обнаруживаешь, что где-то потерял любимую вещь, и теперь ее уже не найти.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Осень в Детройте сдалась без промедления в считанные дни обнажились деревья, и над обесцвеченным железобетонным городом простерлось белесое небо — предвестник ранних снегопадов Мы больше не разъезжали с открытыми окнами. И достали теплую одежду.

Уровень безработицы неумолимо полз вверх. У людей не оставалось денег не содержание своих домов. Некоторые упаковывали вещи и покидали свои жилища, оставляя прошлую жизнь банкам-кредиторам или охотникам за чужим добром. Стоял ноябрь. Впереди была долгая зима.

Во вторник, перед Днем благодарения, я заглянул в церковь «Я страж брату своему», чтобы своими глазами убедиться, как работает ее программа для бездомных. Меня до сих пор что-то смущало в пасторе Генри. Все в его церкви было непривычно — по крайней мере для меня. Но в голове звучали слова Рэба о том, что человек должен быть убежден в истинности своей веры и при том допускать, что другие люди могут верить во что-то иное.

К тому же если уж говорить об общине, то Детройт был теперь моим городом. И я решил все-таки рискнуть. Я помог

Генри купить кусок синего брезента, который натянули над дырой в крыше, и вода в церковь больше не протекала. Починить же крышу было делом нешуточным, — как утверждал подрядчик, ремонт обошелся бы тысяч в восемьдесят.

— Ух! — вырвалось у Генри, когда он услышал предполагаемую стоимость починки.

За все годы, что Генри служил в этой церкви, здесь таких денег и в глаза не видывали. Я искренне сочувствовал Генри, но такую сумму должен был дать тот, кто принял бы в этой церкви самое серьезное участие. Я же пока мог решиться лишь на покупку брезента, не более того.

Я вышел из машины, и лицо мое тут же обдало ледяным ветром. Сейчас, когда в церкви работала программа для бездомных, боковая улочка была заполнена укутанными с головы до ног мужчинами. Кое-кто из них курил. А один, низкорослый и щуплый, держал на руках ребенка. Я подошел поближе и под лыжной шапочкой разглядел женское лицо. Я открыл перед женщиной дверь, и она с ребенком на плече вошла в помещение.

Внутри раздавался громкий, назойливый шум и нечто вроде урчания мотора, а потом послышались какие-то выкрики. Я двинулся к узкому нависавшему над спортивным залом помосту. В зале весь пол был уставлен складными столами, и за ними сидело человек восемьдесят бездомных — мужчин и женщин. Почти на всех были поношенные пальто и теплые фуфайки с капюшонами. Кое-кто был в парке, а один из мужчин — в куртке с эмблемой «Детройтских львов»[22].

Посреди зала, в синей фуфайке и теплом пальто, переваливаясь с ноги на ногу, прохаживался меж столами Генри.

— Я личность! — выкрикивал Генри.

— Я личность! — повторяли собравшиеся.

— Я личность! — снова выкрикивал он.

— Я личность! — снова повторяли бездомные.

— Потому, что Бог меня любит!

— Потому, что Бог меня любит!

Некоторые захлопали. Генри громко выдохнул и кивнул головой. И тогда почти все поднялись из-за столов, встали в круг и взялись за руки. Зазвучала молитва.

А затем, точно по команде, круг распался и превратился в цепочку, бездомные один за другим потянулись на кухню за горячим обедом.

Я плотнее запахнул пальто, — в зале было непривычно холодно.

— Доброго вечера, мистер Митч.

Я оглянулся и увидел Касса, одноногого церковного старосту, сидевшего на помосте с доской для объявлений в руке. Свое приветствие «Доброго вечера, мистер Митч» он произнес с такой напевностью, что казалось, он сейчас снимет передо мной свою кепку. Я уже знал, что он потерял ногу несколько лет назад из-за осложнений, связанных с диабетом и операцией на сердце. Но, несмотря на увечье. Касс всегда был в приподнятом настроении.

— Здравствуй, Касс.

— Пастор вон там.

Генри, заметив меня, помахал рукой. Касс наблюдал за тем, как я помахал ему в ответ.

— А когда вы послушаете *мою* историю, мистер Митч?

— А у тебя тоже есть история?

— Мою историю вам обязательно надобно послушать.

— Похоже, на это уйдет не один день.

Касс рассмеялся:

— Не-е, не-е. Но вам надобно ее послушать. Она важная.

— Хорошо. Касс. Мы что-нибудь придумаем.

Мои слова, видимо, его успокоили, и он, к счастью, больше об этом не заговаривал. Меня снова пробрало холодом, и я еще плотнее запахнулся.

— До чего же здесь холодно, — не удержался я.

— Отопление-то выключили.

— Кто?

— Газовая компания.

— Почему?

— Почему же еще? Счет, верно, не оплатили.

Из-за громкого назойливого шума мы, чтобы услышать друг друга, должны были выкрикивать каждое слово.

— Что это шумит? — спросил я.

— Воздуходувы.

Касс указал на несколько устройств, по виду напоминавших «ветровые носки» в аэропортах. Эти устройства направляли согретый воздух в сторону очереди бездомных, выстроившихся за миской супа и кукурузным хлебом.

— Неужели они действительно отключили отопление? — никак не мог поверить я.

— Ага.

— Но ведь на пороге зима.

— Это правда, — заметил Касс, устремив взгляд на очередь. — Вскорости и людей прибавится.

Через полчаса мы с Генри сидели в его кабинете, нежась в

тепле маленького электронагревателя. В комнату вошел человек с бумажной тарелкой в руках, — на тарелке лежали куски кукурузного хлеба.

— Что же случилось? — спросил я.

Генри тяжко вздохнул.

— Оказалось, что мы должны газовой компании тридцать шесть тысяч долларов.

— Что?!

— Я знал, что мы ей недоплачивали, но недоплачивали совсем немного. Мы все время хоть сколько-то да платили. А тут осенью так быстро похолодало, что мы стали топить в храме и во время службы, и во время занятий Библией. Мы и не понимали, что дыра в крыше…

— Вытягивала тепло?

— Точно. А мы топили все сильней и сильней…

— А тепло улетучивалось в эту дыру.

— Улетучивалось, — кивнул Генри. — Точнее и не скажешь.

— И что же вы теперь делаете?

— Ну, мы достали эти воздуходувы. Поначалу нам отключили и электричество тоже. Но я позвонил им и вымолил оставить нам хоть что-нибудь.

Это было просто невероятно. В Америке в двадцать первом веке в церкви такой холод.

— А какое объяснение вы находите этому в вашей вере? — спросил я.

— Я все время спрашиваю Иисуса. Я говорю ему: «Иисус, с нами что-то неладно? Это что, вроде как в двадцать восьмой главе Книги Второзакония „Вы будете прокляты и в городах, и в деревнях за непослушание ваше“?»

— И что же Иисус вам отвечает?

— Я все еще молюсь. Я говорю ему: «Господи, покажись нам».

Генри снова вздохнул.

— Поэтому тот брезент, что вы помогли нам купить, Митч, для нас очень важен. Нашим людям нужен хоть лучик надежды. На прошлой неделе шел дождь, и вода с крыши так и хлестала, а на этой неделе тоже шел дождь, но вода в храм не попала. Для них это добрый знак.

Я смутился. Мне не хотелось иметь отношение ни к каким таким знакам. Особенно в церкви. Речь шла всего лишь о брезенте. О куске синей непромокаемой ткани.

— Можно мне задать вам один вопрос? — сказал я.

— Конечно.

— Когда вы продавали наркотики, сколько у вас было денег?

Генри задумчиво почесал в затылке.

— О, как-то раз я *за* полтора года заработал почти полмиллиона, представляете?

— А теперь у вас отключили газ?

— Ну да, — тихо произнес он. — Теперь у меня отключили газ.

Я не стал спрашивать Генри, не скучает ли он по старым временам. По чести говоря, моего первого жестокого вопроса было более чем достаточно.

Позднее, когда убрали посуду, а столы сложили. Касс, держа в руках список, принялся выкрикивать перечисленные в нем имена: «Эверетт! Де Маркус!..» — и бездомные, один та другим выступая вперед, разбирали тонкие виниловые матрасы и шерстяные одеяла. И тут же бок о бок, в нескольких футах друг от друга, укладывались на ночь. У некоторых были с собой полиэтиленовые мешки с пожитками, другие пришли с пустыми руками. В зале от холода пробирала дрожь. Голос Касса, эхом отражаясь от потолка, звучал в полном безмолвии, словно именно в эту минуту до каждого из присутствующих вдруг дошло, что у него нет ни дома, ни постели, ни жены, ни ребенка и нет никого, кто сказал бы ему «спокойной ночи».

Не безмолвствовали одни только воздуходувы.

Час спустя, когда все расположились на ночлег. Касс, завершив свою работу, взгромоздился на костыли, погасил свет и поплелся к выходу.

— Запомни, в следующий раз я расскажу тебе *мою* историю, — сказал Касс.

— Хорошо, договорились, — ответил я, засовывая руки в карманы и дрожа от холода.

И как только можно спать в таком холоде? Хотя это, наверное, все же лучше, чем на крыше или в брошенной машине.

Я уже стоял у выхода, как вдруг вспомнил, что забыл свой блокнот в кабинете у Генри. Я поднялся по ступеням, обнаружил, что дверь кабинета заперта, и снова спустился вниз.

Перед тем как выйти на улицу, я решил еще раз заглянуть в физкультурный зал. Монотонно шумели воздуходувы, а под одеялами вздымались бугорки: одни бугорки казались неподвижными, другие — потихоньку ворочались. Не помню точно, о чем я тогда подумал, но сама мысль все же застряла в памяти: каждый этот бугорок — человек, каждый из этих людей когда-то был ребенком, и каждого из этих детей когда-то держала на руках мать… А теперь все эти люди, скатившись на самое дно, лежат на холодном полу.

Даже если люди и нарушают Божьи законы, неужели Богу не больно на это смотреть?

И тут в другом углу комнаты кто-то едва заметно зашевелился. В темноте обрисовалась крупная одинокая фигура. Пастор Генри, словно часовой на посту, просидит здесь еще не один час, пока его не сменит ночной сторож. И лишь тогда он, закутавшись в теплое пальто, выйдет из церкви через боковой выход и зашагает домой.

Я неожиданно почувствовал, что мне страшно хочется поскорее оказаться дома, в постели. Я толкнул дверь… и зажмурился. На дворе шел снег.

Я с Весельем милю прошагал,
И оно болтало всю дорогу,
Но мудрей от этого не стал,
Хоть услышал от него так много.

Я с Печалью милю прошагал,
А она молчала всю дорогу;
Но, Господь мой, сколько я узнал,
Нехотя шагая с нею в ногу.

Роберт Браунинг Гамильтон

КОНЕЦ ОСЕНИ

— У нас несчастье.

Дочь Рэба Гиля позвонила мне на сотовый, что делала только в случае серьезных неприятностей.

Она сказала, что Рэбу вдруг резко стало хуже: не то инсульт, не то инфаркт. Он не в состоянии сохранять равновесие — все время заваливается вправо. Не помнит имен. И невозможно понять, о чем он говорит.

Его увезли в больницу. Он уже там несколько дней. И они обсуждают, что делать дальше.

— Его что… — Я оборвал себя на полуслове.

— Мы пока не знаем, — сказала Гиля.

Я попрощался и тут же позвонил в авиакомпанию.

Я приехал к Рэбу домой в воскресенье утром. На пороге меня встретила Сара. Она жестом указала на Рэба, — его уже выписали из больницы, и теперь он сидел в кресле в дальнем конце крытой веранды.

— Я хочу, чтобы вы знали, — сказала она, понижая голос, — он уже не такой…

Я понимающе кивнул.

— Ал! К тебе гость, — возвестила она.

Сара произнесла эти слова громко и медленно, и я понял: произошли серьезные перемены. Я подошел к Рэбу, и он повернулся ко мне лицом. Потом слегка приподнял голову и едва заметно улыбнулся. Он попытался поднять руку, но она с трудом дотянулась до груди.

— А-а, — выдохнул Рэб.

На нем была фланелевая рубашка. Он был укутан в одеяло. А на шее у него висело нечто вроде свистка.

Я наклонился к нему и потерся щекой о его щеку.

— Э-э… м-м-м… Митч, — прошептал он.

— Как ваши дела? — спросил я.

Ну не дурацкий ли вопрос?

— Это не… — начал он и умолк.

— Это не?..

Лицо его сморщилось.

— Это не лучший день вашей жизни? — неловко пошутил я.

Рэб попытался улыбнуться.

— Нет, — сказал он. — Я хотел… это…

— Это?

— Где… видишь… а-а…

У меня перехватило дыхание. К глазам подступили слезы.

Передо мной в кресле сидел Рэб. Но того человека, которого я знал прежде, там уже не было.

* * *

Что делать, когда теряешь любимого человека настолько быстро, что не успеваешь к этому подготовиться?

Парадокс заключался в том, что именно тот, кто мог лучше всех ответить на этот вопрос, сейчас сидел передо мной, — человек, который пережил когда-то самую страшную в жизни потерю.

Это случилось в 1953 году, всего через несколько лет после того, как Рэб начал работать в нашей синагоге. У них с Сарой уже было трое детей: пятилетний сын Шалом и две четырехлетние дочери-близнецы. Одну из девочек звали Ора, что на иврите значит свет, другую — Рина, что значит радость.

И Радости в одну ночь не стало.

Однажды поздно вечером маленькая Рина, жизнерадостная

девчурка с золотисто-каштановыми кудряшками, начала вдруг задыхаться. Она лежала в кроватке, хрипела и хватала ртом воздух. Сара, услышав в детской комнате шум, побежала проверить, что случилось. И тут же кинулась к Рэбу со словами: «Ал, ее надо везти в больницу».

Они ехали по темным улицам, а девочка рядом с ними сражалась за свою жизнь. Она задыхалась. Губы ее посинели. Ничего подобного с ней никогда раньше не случалось. Рэб нажимал на акселератор.

Они ворвались в отделение «Скорой помощи» больницы Святой Девы Лурда в городе Кэмден штата Нью-Джерси. Доктора увезли девочку в смотровую комнату. А Рэб и Сара стали ждать. Они стояли в коридоре совсем одни. Что им было делать? Что на их месте можно было сделать?

В безмолвном коридоре Сара и Альберт молились о том, чтобы девочка выжила.

Через несколько часов она умерла.

Оказалось, что у Рины был тяжелый приступ астмы — в ее жизни он был первый и последний. В наши дни она скорее всего выжила бы. Если бы у нее был ингалятор и она знала, что и как нужно делать, возможно, у нее вообще не случилось бы такого страшного приступа.

Но сегодня — это не вчера. Рэб стоял и беспомощно слушал слова врача, хуже которых ничего не придумаешь. «Мы не могли ее спасти», — сказал ему доктор, которого Рэб никогда раньше не видел. Как это могло случиться? Ведь еще днем она себя прекрасно чувствовала. Веселая девчушка. Впереди у нее была вся жизнь. «Мы не могли ее спасти»? Где тут здравый смысл? Как вообще в жизни может такое случиться?

Последующие дни прошли в пелене тумана. Были похороны. Маленький гроб. У могилы Рэб произнес Кадиш, молитву, которую он из года в год читал для других, молитву, в которой ни разу не упоминается смерть, но которую тем не менее произносят каждый год в годовщину смерти.

> «Да возвысится и осветится Его великое имя
> В мире, сотворенном по воле Его…»

На гроб бросили горсть земли.

Рину похоронили.

Рэбу тогда было тридцать шесть.

* * *

Рэб, рассказывая мне об этом, признался, что в те дни проклинал Бога.

— Я снова и снова спрашивал Его: «Почему она умерла? Что эта маленькая девочка такого сделала? Ей было всего четыре года. Она не обидела ни одной живой души».

— И Он вам ответил?

— Нет, у меня до сих пор нет ответа.

— Вас это рассердило?

— Я был в ярости… какое-то время.

— А вы не чувствовали себя виноватым в том, что проклинали Бога? Вы ведь раввин.

— Нет, не чувствовал, — ответил Рэб, — потому что, проклиная, я все же признавал, что есть сила могущественнее меня. — Он помолчал. — Так и началось мое исцеление.

В тот вечер, когда Рэб снова взошел на кафедру, синагога была набита битком. Некоторые прихожане глубоко ему сочувствовали. Были и такие, что пришли из любопытства. Но в глубине души большинство, наверное, задавалось вопросом: «Что же вы скажете нам теперь, когда с вами случилась такая беда?»

Рэб знал это. И в какой-то мере именно поэтому он вернулся на службу так быстро — в первую же пятницу после положенных тридцати дней траура.

Когда Рэб поднялся на кафедру, и конгрегация затихла, он заговорил так, как говорил всегда, — от чистого сердца. Он признался, что сердился на Бога, вопил и выл от ярости, требуя ответа. Рэб говорил, что он, священнослужитель, плачет и страдает, как любой другой, при одной мысли о том, что ему больше никогда не обнять свою девочку.

И тем не менее, сказал он, все положенные, выполняемые им с проклятиями траурные обряды — молитвы, разрывание одежды, завешивание зеркал — помогли ему сохранить рассудок. Если бы не они, он сошел бы с ума.

— То, что я прежде говорил другим, теперь я должен сказать самому себе, — признался Рэб.

Именно так, по словам Рэба, самым тяжким способом проверялась его вера. Теперь он должен был сам пить свой собственный лекарственный напиток и исцелять свое разбитое сердце.

Рэб рассказал им, что, произнося слова Кадиша, он думал: это часть моей традиции, и когда я умру, мои дети прочитают эту же самую молитву, которую я сейчас читаю по своей дочери.

Его вера не спасла Рину от смерти, но она хоть чуть-чуть да облегчила нестерпимую боль, хоть немного да помогла ему пережить эту невыносимую утрату, напомнив, что в этом огромном мире мы всего лишь хрупкие частицы. Его семья благословенна уже тем, что этот ребенок прожил рядом с ними хотя бы несколько лет. Когда-нибудь он с ней снова увидится. Он в это верит. И это придает ему силы.

Когда он кончил говорить, почти все в зале плакали.

— И уже год спустя, — рассказывал мне Рэб, — если мне приходилось навещать семью, потерявшую кого-то из близких, — особенно когда умирал кто-то из молодых, — я пытался утешить скорбевших тем, что в свое время помогало утешиться мне. Порой мы просто сидели и молчали. Иногда я держал кого-нибудь за руку. Я давал им выговориться. Выплакаться. Проходило время, и я видел, что им становилось немного легче.

А потом я выходил на улицу и делал так… — Рэб коснулся пальцем языка, а потом поднял палец к небу. — Еще одно очко в твою пользу, доченька, — улыбнувшись, произнес он.

И вот теперь, сидя в домашнем кабинете Рэба, я держал его за руку так, как в свое время он держал других. Я попытался улыбнуться. Он часто заморгал.

— Хорошо, — сказал я, поднимаясь с места. — Я скоро приду еще.

Он едва заметно кивнул.

— Ты… идет… да… — зашептал он.

Что мне было делать? Он не мог произнести ни одного связного предложения. И все мои жалкие попытки вести с ним беседу только расстраивали его. Похоже, он понимал, что происходит, и я боялся, что выражение моего лица выдаст, какую непоправимую утрату я переживаю. Неужели это справедливо, что такой мудрый и красноречивый человек, еще несколько недель назад читавший лекцию о божественном, лишен своего ценнейшего дара? Он не мог больше учить, он не мог сплетать изящные фразы и предложения и не мог ясно мыслить.

И петь он тоже не мог.

У него осталась лишь способность сжимать мои пальцы и шевелить губами.

По дороге домой, в самолете, я сделал кое-какие записи. И со страхом подумал, что скоро, похоже, настанет черед прощальной речи.

ИЗ ПРОПОВЕДИ РЭБА

Если вы спросите меня, — и, наверное, не можете не спросить, — почему этот славный, чудесный ребенок, который мог бы столько дать этому миру, должен был умереть, я скажу вам: у меня нет рационального объяснения. Я не знаю, почему.

Но в комментариях к Библии наша традиция говорит, что первый человек на Земле Адам должен был жить дольше всех остальных людей на Земле — тысячу лет. Однако этого не случилось. И наши мудрецы решили, что произошло следующее: Адам умолял Бога позволить ему заглянуть в будущее. Тогда Бог сказал: «Пойдем со мной». Бог повел Адама по небесным комнатам, где души тех, кому суждено было родиться, ожидали своей очереди. Каждая душа воплощалась в пламени. Одни языки пламени горели ярко, другие — едва теплились.

И тут Адам увидел чистое, яркое, золотисто-оранжевое целительное пламя. «Господи! — воскликнул он. — Из этого пламени родится великий человек! Когда это произойдет?»

И ответил ему Бог: «К сожалению, Адам, этой прекрасной душе не суждено родиться. Ей предначертано совершить грех и опорочить себя. А я не хочу, чтобы она запятнала себя бесчестьем».

И взмолился Адам: «Господи, но ведь человека должен кто-то учить и направлять. Пожалуйста, не лишай меня потомков».

И ответил ему Господь мягко и вежливо: «Решение это уже принято, все годы жизни распределены, и лишних лет у меня для него не осталось».

И дерзко сказал Ему Адам: «Господь мой, а что, если я подарю этой душе часть своей жизни?»

И ответил ему Бог: «Если таково твое желание, я его исполню».

Насколько нам известно, Адам прожил девятьсот тридцать лет. А спустя целую вечность в городе Вифлееме родился ребенок. Он стал царем Израиля и изумительным поэтом и певцом. Он вел за собой народ Израиля и вдохновлял его. Как сказано в Писании: «И вот похоронили царя Давида после того, как прожил он семьдесят лет».

— Друзья мои, когда нас порой спрашивают, почему

ушел из жизни такой молодой человек, я могу лишь обратиться к нашей мудрой традиции. Да, царь Давид прожил не такую длинную жизнь, как мог бы. Но пока он жил, он вдохновлял нас, учил и оставил нам великое духовное наследие, включая Книгу Псалмов. Один из его псалмов — двадцать третий — нередко читают на похоронах.

Господь — пастырь мой, и нет у меня ни в чем нужды.
На пажитях злачных Он покоит меня,
К водам покоя ведет Он меня.
Обновляет Он душу мою…

— Уж лучше прожить с моей Риной четыре года, чем не прожить ни одного.

ЗИМА

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему из-за многолюдства, они раскрыли кровлю дома.

Евангелие от Марка 2:3–4

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

Воскресным утром в метель я подошел к главному входу в церковь, толкнул дверь и вошел. В церкви было жутко холодно и пусто. Дыра в крыше находилась прямо надо мной, и слышно было, как по синему брезенту хлещет ветер. Откуда-то доносились звуки органа, но никого вокруг не было видно.

— Ш-ш-ш! — послышалось у меня за спиной, и, обернувшись, я увидел тощего, с высоким лбом мужчину, жестом указывавшего мне на боковую дверь.

Я подошел к двери, толкнул ее и оторопел. Я оказался в импровизированной «мини-церкви», в которой стояло всего лишь два ряда коротких скамеек и клеенчатая «стена», пришпиленная к дощатому каркасу. А над головой, имитируя низкий потолок, была натянута еще одна клеенка. Все это напоминало детскую «крепость» на чердаке.

Так как отопления в церкви по-прежнему не было, то прихожанам, судя по всему, пришлось соорудить внутри церкви эту клеенчатую палатку. И теперь, прижавшись друг к другу, они сидели в этой тесной «церквушке»; в ней было немного теплее, но все как один были одеты в пальто и куртки. Именно здесь пастор Генри Ковингтон теперь проводил свои воскресные службы. Огромный алтарь заменяла маленькая кафедра. Вместо мощного органа позади Генри к стене было прикреплено черно-белое полотно.

— Мы благодарны тебе, Господи, — говорил Генри ту минуту, когда я проскользнул в задний ряд. — Бог надежды… Мы благодарим тебя и поем тебе хвалу… Во имя Иисуса Христа, аминь.

Я огляделся вокруг. Дыра в крыше, отключенное отопление,

клеенчатая молельня — сколько еще продержится эта церковь, прежде чем уйдет в небытие?

В тот день в своей проповеди Генри говорил, что о людях часто судят по их прошлому. Сначала он сетовал на то, как нелегко избавиться от привычки — особенно от пагубной привычки.

— Я знаю, как это бывает, — бушевал ом. — Я знаю, как это бывает, когда ты клянешься: никогда больше я этого не сделаю… Если у мена снова будут деньги, я сделаю то, я сделаю это… Идешь домой и обещаешь своим родным: я такой-сякой, но я исправлюсь…

— Аминь!

— А потом у тебе появляются деньги, и все твои обещания летят в тартарары.

— О да!

— Ты уже сыт по горло тем, что все время сыт по горло…

— Сыт по горло!

— Но приходит время, когда ты должен признаться Богу: моя беда сильнее меня… она сильнее программы лечебного центре, она сильнее пастора в церкви мне нужен ты, Господи… Мне нужен ты, Иисус…

Генри начал хлопать в ладоши.

— Но ты должен быть, как Смоуки Робинсон[23]…

Тут Генри запел его песню. Он исполнил две строчки из «Ты меня просто приворожила».

А потом снова вернулся к проповеди.

— Возможно, вы дойдете до супермаркета и накупите всякой еды, но тут к вам кто-то подойдет, и вы Ладите слабинку… и все продукты, что вы купили да семьдесят долларов, отдадите за двадцать.

— За пятнадцать!

— Точно, сэр… если уж очень хочется «дури», то и та пятнадцать. Я вам говорю: я хорошо знаю, что значит быть там, внутри всего этого… но я знаю и как выйти оттуда.

— Аминь!

— Мы должны это дело побороть Но побороть его в *себе самом* — это еще полдела. Если кто-то другой старается бросить это дело, вы должны в него поверить…

— Проповедуй, пастор! Проповедуй!

— Из «Книги деяний апостолов» мы узнаем, что Павлу — после того как он поменял религию — люди не доверяли, потому что раньше он преследовал христиан, а теперь стал восхвалять их. «Разве это тот же самый человек? Не может быть! Не-е-ет…»

Удивительно, как люди могут не видеть, кто ты есть, оттого что смотрят в твое прошлое. Самая большая проблема для нас, пасторов, в том, что люди знали нас до того, как мы пришли к Господу Богу…

— Точно!

— То же самое с Павлом… Они знали его… они не могли поверить, что этот человек пришел от Иисуса, потому что смотрели в его прошлое…

— Верно!

— Они видели только его прошлое. И когда мы обращаемся к своему прошлому, мы не видим того, что сделал для нас Бог. Того, что Он еще *сможет* сделать! Мы не замечаем тех важных мелочей, что случаются в нашей жизни…

— Расскажи нам, пастор.

— Когда люди говорят мне, что я хороший человек, я отвечаю: «Я стараюсь». Но есть люди, которые знали меня до того… Каждый раз, когда я бываю в Нью-Йорке и они слышат, что я пастор в церкви, они тут же начинают: «Я знаю, парень, тебе хорошо платят. Я *знаю,* что тебе платят. Я *знаю* тебя». — Генри умолк. А потом совсем тихо добавил: — Нет, говорю я им. Вы знали меня того, прежнего человека, но вы не знаете человека, каким я стараюсь стать.

Я сидел в заднем ряду, слушал и чувствовал, как меня заливает краска стыда. Ведь, по правде говоря, именно так я и судил о Генри. Я думал: а что, если в Нью-Йорке, среди своих прежних дружков, он посмеивается и говорит: «Да, у меня там новое дельце заварилось».

А Генри в это время проповедовал в клеенчатой палатке.

— Вы не ваше прошлое! — сказал он своим прихожанам.

Вам когда-нибудь приходилось слышать проповедь, которую, казалось, прокричали вам прямо в ухо — вам одному? Когда такое случается, то дело скорее всего не в проповеднике, а в вас.

Декабрь

ДОБРО И ЗЛО

После стольких лет настойчивой борьбы с трудностями Рэб, как мне казалось, мог справиться с любой болезнью; но все хвори скопом одолеть ему было трудно.

Приступ, из-за которого он теперь сидел, как развалина, в кресле и бессвязно бормотал невесть что, оказался вовсе не инсультом, а трагическим последствием всех его недугов, вместе взятых. Из-за того, что его лечили несколько докторов и ему прописывали множество лекарств, дозу дайлантина — средства от судорог — нечаянно довели до токсичного уровня, который просто-таки сокрушил его.

Эти таблетки, грубо говоря, превратили его в полную развалину.

Несколько месяцев спустя, когда в конце концов врачи поняли, в чем дело, дозу лекарства тут же снизили, и буквально через пару дней Рэб вышел из этого разрушительного ступора.

Сначала я узнал об этом из телефонного разговора с Гилей, а потом позвонила и Сара.

— Это поразительно, — говорили они. — Это невероятно…

Первый раз за несколько месяцев голоса их звучали приподнято, словно к ним во двор после мучительной зимы вдруг нежданно-негаданно явилось лето. Когда я самолетом примчался на Восточное побережье, вошел к Рэбу в дом и своими собственными глазами его увидел… не знаю, как описать, что я почувствовал. Я слышал истории о людях, которые годами пребывали в коме, а потом неожиданно приходили в себя и тут же на глазах у изумленных родственников просили кусок шоколадного торта. Возможно, я пережил нечто подобное тому, что пережили эти родственники.

Рэб развернулся ко мне в своем кресле, и я увидел, что на нем — один из тех самых усыпанных карманами жилетов. Он протянул мне костлявую руку, улыбнулся своей знаменитой веселой, с морщинками у глаз, излучавшей свет улыбкой и радостно пропел: «При-ивет, незнако-омец!» Клянусь вам, у меня было ощущение, что Рэб вернулся с того света.

— Что же вы тогда чувствовали? — усевшись в кресло, спросил я Рэба.

— Туман, — ответил он. — Точно я находился в какой-то

темной дыре. Я вроде как и был здесь, а вроде меня тут и не было.

— А вы не думали, что это… ну, вы знаете, что я хочу…

— Что это — конец?

— Ну да.

— Время от времени мне так казалось.

— И о чем вы тогда думали?

— В основном о своей семье. Мне хотелось их успокоить. Но я был совершенно беспомощен.

— Вы меня до смерти напугали… то есть, я хотел сказать, нас.

— Прошу прощения, но так уж случилось.

— Ну что вы. Это же не ваша вина.

— Митч, я себя спрашивал: почему такое произошло? — почесав подбородок, сказал Рэб. — Почему меня… как бы это сказать… она пощадила? Ведь еще пару этих как-они-называются…

— Миллиграмм?

— Да. И мне был бы капут.

— И вас это не возмущает?

Рэб пожал плечами.

— Послушай, я догадываюсь, что ты имеешь в виду, и я, конечно, от всего этого не в восторге. Но я обязан верить, что врачи делали все от них зависящее.

Мне трудно поверить, что человек может быть настолько терпимым. Большинство людей уже сидели бы в кабинете у адвоката. Но Рэб, очевидно, думал, что раз он был спасен, то наверняка не для того, чтобы затевать судебную тяжбу.

— Может быть, я могу еще что-то дать, — сказал он.

— А может, что-то получить?

— Когда даешь, обязательно получаешь, — сказал Рэб.

Да, похоже, я сам попался на собственный крючок.

* * *

Я знал, что Рэб действительно верит в это банальное утверждение. Если ему удавалось кому-то помочь, счастливей его человека не было. Но у священнослужителя, наверное, просто нет выбора. Религия обязывает его взращивать в себе то, что Линкольн назвал «добрыми ангелами нашего существа».

С другой стороны, в свое время Наполеон отменил религию на том основании, что «она мешает бедным убивать богатых», то есть без страха перед Богом, или, вернее, расплатой в аду, мы

можем делать все, что взбредет нам в голову.

То, что мы узнаем из новостей, раз за разом подтверждает плодотворность этой идеи. За последние месяцы в Индии террористы взорвали поезд, жадных до денег руководителей компании «Энрон» приговорили к тюремному заключению за мошенничество, водитель грузовика застрелил пять девочек в школе амишей[24], а калифорнийского конгрессмена, жившего на роскошной яхте, отправили в тюрьму за миллионные взятки.

— Как вы думаете, — спросил я Рэба в тот день, — правда ли, что человек по своей природе порочен?

— Нет, — ответил он, — я верю, что в людях заложено добро.

— Значит, в нас живут эти самые «добрые ангелы»?

— Да, в глубине души.

— Тогда почему мы совершаем столько дурных поступков?

Рэб вздохнул.

— Потому, что Бог дал нам свободу воли, но иногда я со страхом думаю, что Он в этом перестарался. Он предоставил нам свободу выбора. Я считаю, что мы получили от него все для того, чтобы построить прекрасный мир, — если б только мы умели принимать мудрые решения. Но иногда мы допускаем ошибки. И совершаем страшные поступки.

— А человек способен меняться к лучшему или к худшему?

— Способен. И в ту, и в другую сторону, — покачав головой, произнес Рэб.

Веками люди пытались разобраться в сути человеческой натуры. Если ребенка, скажем, растить в одиночестве, в изоляции от общества и бесконечных в нем перемен, в стороне от средств массовой информации, вырастет ли такой ребенок добрым и сердечным? Или он вырастет диким и кровожадным, озабоченным исключительно своими собственными интересами?

Этого нам никогда не узнать. Мы не воспитаны волками. Но ясно одно: нас мучают противоречивые желания. Христиане верят в то, что человека без конца искушает сатана. Индуисты полагают, что зло существует для того, чтобы нам труднее было достичь душевного равновесия. Иудаизм говорит о том, что благие и злые намерения человека, как два духа, воюют между собой. Злой дух поначалу может казаться тонким и хрупким, как нить паутины, но если дать ему окрепнуть, он станет толще и прочнее каната.

Однажды Рэб произнес проповедь о том, как одно и то же явление может быть и добром, и злом в зависимости от того, как мы, обладая свободой воли, им воспользуемся. Словами можно благословить, а можно проклясть. Деньги могут спасти, а могут

сгубить. Наука способна исцелить, но может и убить. Даже природа иногда работает на человека, но может и уничтожить его: огонь согревает и обжигает; вода поддерживает жизнь, а потопом может погубить ее.

— Но в истории сотворения мира нет слова «плохой». Бог не сотворил ничего плохого.

— Выходит, все дурное мы делаем по собственной инициативе?

— Да, по собственной инициативе, — ответил Рэб. — Я думаю, что время от времени Бог сжимает кулаки и произносит: «Остановитесь! Это приведет к беде!» Но ты спросишь, а почему же Бог не вмешивается? Почему Он не уничтожит зло и не укажет нам, как творить добро? Да потому, что Он с самого начала сказал: «Я отдаю этот мир в ваши руки. Если я буду всем руководить, что будете делать вы?» В каждом из нас есть нечто божественное, но у нас есть и свобода воли. И я думаю, что Бог, с любовью наблюдая за нами, молится о том, чтобы мы делали правильный выбор.

— Вы правда думаете, что Бог молится? — спросил я.

— Я думаю, Бог и молитва очень тесно между собой связаны, — ответил Рэб.

Я смотрел на Рэба и изумлялся: он снова рассказывает, снова рассуждает, снова шутит. Еще совсем недавно его родные и друзья в отчаянии заламывали руки и плакали над его судьбой. А теперь… Его дочь назвала это чудом. Возможно, это и было чудом. Что касается меня, то я чувствовал невероятное облегчение и оттого, что Рэбу стало лучше, и оттого, что прощальная речь откладывалась.

Послышался автомобильный гудок. Это за мной приехало такси.

— Такова вот история моей недавней жизни, — произнес напоследок Рэб.

Я подошел к нему и обнял — чуть крепче обычного.

— Больше, пожалуйста, не пугайте нас, хорошо?

— Ха! — рассмеялся он и, тыча пальцем вверх, произнес: — Об этом договаривайся с моим боссом.

ИСТОРИЯ КАССА

«История моей недавней жизни». Интересное выражение. В нем намного больше здравого смысла, чем в «истории моей жизни», потому что между нашим рождением и смертью мы

проживаем столько разных жизней. Детство. Время взросления. Время странствий, время любви, время остепениться. Время растить детей, время проверить, чего ты стоишь, время осознания своей смертности и, если повезет, после этого осознания время совершить что-то стоящее.

В жизни Рэба все это было.

Но это было и в жизни еще одного человека.

Я не имею в виду Генри, хотя и он, разумеется, прожил не одну жизнь.

Я говорю о его верном церковном старосте, одноногом Кассе, который донимал меня до тех пор, пока однажды холодным зимним вечером, сидя рядом со мной в клеенчатой молельне, он не заявил мне своим хрипловатым голосом: «Мистер Митч, я *должен* вам об этом рассказать…»

Энтони Касс (настоящая фамилия его была Кастелло), как оказалось, действительно прожил невероятную жизнь. Он родился в большой семье, был блистательным спортсменом, служил в армии, вернулся домой и стал местным торговцем наркотиками.

— Но это все присказка, — произнес он. — А вот сейчас я расскажу *то,* что вам и вправду стоит знать.

И он поведал мне историю своей недавней жизни.

«Восемнадцать лет назад — тогда еще у меня были обе ноги — в баре „Милашка“ меня пырнули ножом в живот. Я в этом баре „дурь“ продавал. И вот как-то раз вошли в бар двое парней, один набросился на меня сзади, а другой отобрал „дурь“ и пырнул ножом. В больнице я чуть не умер. Я харкал кровью. Врачи сказали, что вряд ли я дотяну до утра. Но я выжил. И снова вернулся к наркотикам. А вскоре из-за наркотиков попал в тюрьму. На три года. Там я стал мусульманином, потому что они были такие аккуратные, следили за собой, и один парень, Усур, показал мне, как молиться, — ну вы знаете, — пять раз в день на таком молитвенном коврике делать салаги и говорить „Аллах Акбар“. Но этот парень Усур, когда мне все это объяснил, вдруг зашептал: „Во имя Иисуса Христа. Аминь“. Тогда я отвел его в сторону, а он и говорит: „Слушай, парень, тута я мусульманин, а семья моя там — христианская. Я уж и не знаю, кто там после смерти Аллах или Христос. Я просто стараюсь попасть туда, ну ты понимаешь? Мне ведь, Касс, домой хода нет. Я ведь тута и *помру,* ты ведь понимаешь?“ Вышел я из тюрьмы, а в голове все перепутано. От всех этих дел с Богом я отошел и снова за „дурь“ — крэк, „колеса“, травка. А скоро в кармане уже ни гроша. Идти мне было некуда, и я пошел назад в Джефрис Прожект, такой дом

для бедных, где я вырос. А его уже забросили и наполовину сломали. Толкнул там заднюю дверь в какую-то квартиру и завалился спать. В ту ночь я в первый раз сказал себе: „Ты, Касс, бездомный“.»

Касс рассказывал, а я кивал головой, все еще не понимая, куда ведет эта история. Из-за седеющей бороды, очков и лихо надвинутой на глаза шляпы вид у Касса был чуть ли не артистичный, и если бы не старая коричневая куртка и ампутированная нога, благодаря которым нетрудно было догадаться об истинном положении вещей, его можно было бы принять за стареющего джазиста. Касс увлеченно рассказывал свою историю, а во рту у него то и дело показывались редкие желтые зубы, торчавшие из десен, словно крохотные колышки забора.

Касс решительно настроился рассказать мне свою историю до самого конца. Я же, пытаясь хоть как-то согреться, потер руки и, сдаваясь, произнес: «Давайте, Касс, рассказывайте». В церкви было настолько холодно, что при каждом слове изо рта у меня валил пар.

— Так вот, мистер Митч, такое вот случилось: я в этом доме пару раз чуть не умер. Однажды вернулся я ночью: вхожу в комнату, а меня пистолетом по башке как огреют, и раскроили мне череп. А почему, я так и не понял. Они, значит, оставили меня там подыхать, всего в крови, да еще спустили мне штаны и вывернули карманы.

Касс наклонился ко мне, приподнял шляпу, и я увидел на голове его шрам — дюйма три в длину.

— Видали? — Он снова натянул шляпу. — В той жизни ты всякую ночь иль напьешься, иль тащишься, иль еще что-нибудь, только бы не думать о том, что идти-то тебе, в общем, некуда. Чем только я не зарабатывал, чем только не промышлял. Выносил мусор в барах. Побирался. И конечно, воровал. Как начнется какая-нибудь хоккейная или бейсбольная игра, проберешься туда и стянешь у них оранжевый флажок. Приведешь себя немного в порядок и машешь этой штукой водителям: «Ставьте машину прямо тут». А потом с ихними деньгами бежишь назад к себе в жилье и тащишься в свое удовольствие.

Я покачал головой. Если представить себе все хоккейные матчи и бейсбольные игры, на которых я перебывал, то скорее всего я тоже одарил Касса не одной купюрой.

— Я был бездомным годков этак пять, — сказал Касс. — Пять годков. То тут поспишь, то там, в этих ихних заброшенных домах для бедных. А как-то зимою, ночью, в дождь, я, дурак разэтакий,

чуть до смерти не замерз на автобусной остановке — идти-то было некуда. А голодный-то был и худющий — живот прямо к спине прилипал.

Было у меня двое штанов, и те и другие на мне. Бали три рубашки, и все три на мне. Было у меня серое пальтецо, так я им то укрывался, то под голову ложил, — как только его не пользовал. И еще были у меня такие спортивные ботинки. А в них дыр-то! Так я, бывало, ноги обсыплю питьевой содой, — чтоб не воняли.

— А где же вы брали питьевую соду?

— Да вы что?! Мы ж все курили крэк. А с чем ты его делаешь? У *всех* была питьевая сода!

Я отвел взгляд, чувствуя себя полным невеждой.

— А потом я услышал про этого, из Нью-Йорка, Ковингтона. Разъезжает, мол, по всему району в старом лимо. Сам из церкви. Вот мы и прозвали его Рэбби Рэб.

— Рэбби что?

— Рэб.

Касс наклонился ко мне и подмигнул так, точно его рассказ был всего лишь прелюдией.

— Рэб приезжал каждый день в ентой своей машине с едой — откроет, бывало, багажник, разложит еду на капоте. Овощи. Молоко. Соки. Мясо. Все, которые голодные, могли взять и поесть. Только он свою машину поставит, глядь, уж очередь — человек этак сорок, а то и пятьдесят. И ничегошеньки он у нас не просит. А если что и скажет, так это в самом конце: «Помните, Иисус вас любит». Когда ты бездомный, тебе эти разговоры не очень-то по нутру: поговорить-то про Иисуса можно, но потом тебе опять идти в ентот пустой разрушенный дом — понятно? А потом пастору стали давать еду боготворительные конторы, и он стал раздавать ее на поле возле своего дома. Мы с ребятами соорудили там возле него гриль — еду согревать. Люди приходили с других кварталов, кто с миской, кто с ложкой, — у кого, конечно, она есть. А были и такие, что приходили с полиэтиленовыми пакетами, запихивали туда еду, а потом прямо руками ее и ели. А пастор прямо на дворе возле дома возьмет да и проведет малую службу. Сказать Богу спасибо.

— Погодите. Во дворе? Возле дома?

— А я что говорю? Нам этот парень, правду скажу, понравился. Завидим его издалека и кричим: «Рэбби Рэб идет. Прячь, ребята, выпивку! Прячь „дурь“!» А он нас просил помочь ему разгрузить машину — индейку там, хлеб, соки всякие, — и нам за это немного платил. Так мы с одним парнем

приноровились: одну пачку — церкви, две — себе. Кинем свое в кусты, а потом попозже придем и заберем. А пастор однажды подошел ко мне и говорит: «Касс, тебе еды хватает? Бери, сколько тебе нужно». Видно, знал он про мои делишки. Ну и стыдно мне стало.

— Как-то раз сижу у себя, тащусь и вдруг слышу, как пастор зовет меня. А мне неловко выходить к нему. Глаза у меня навыкате, огромные, как блюдца. Он меня и спрашивает, не могу ли я завтра прийти и подстричь у его дома траву. Я говорю: «Сделаю, чего там». Он дает мне десять долларов и говорит: «Ну, до завтра». Он ушел, а у меня одно на уме: сбегать накупить еще «дури». Но не хотелось мне эти деньги пустить на такое дело. Тогда я бегом в магазинчик напротив и накупил крекеров, мясных обрезков и еще чего-то, — только бы не потратить его деньги на «дурь». А ночью парень, что со мной соседствовал, пока я спал, стащил трубы из-под раковины. Украл их для какого-то копа, чтоб тот их продал. Парень-то сбежал, а вода как польется! Я просыпаюсь, а вокруг потоп, меня водой прямо-таки смывает. Всей моей одежде каюк. И тогда я иду прямо к дому пастора и говорю ему: «Прошу прощения, но работать для вас не смогу. Я весь с головы до ног промокший». И еще говорю ему: «Ну и зол я на этого парня». А он мне: «Касс, не переживай. С другими и не такое случается». А потом посылает меня в церковь и говорит: «Поднимись наверх, там лежат мешки с одеждой, — выбери себе что хочешь». И я иду и беру себе одежду. Митч, только Бог знает, сколько лет не видал я чистого нижнего белья. А тут еще и чистые носки. И рубашка. Иду снова к нему домой, а он выходит ко мне и говорит: «Где же ты теперь, Касс, будешь жить?» А я ему: «Не знаю. Мое жилище все водой залито». Тогда он идет в дом поговорить с женой, а потом возвращается и спрашивает: «Почему бы тебе не остаться тут с нами?» У меня просто челюсть отвисла. Ну да, я немного поработал для него. Но я ведь крал у него еду. А он впускает меня в свой дом! Я молчу, а он говорит мне: «Хочешь немного подумать?» А я ему: «О чем тут думать? Я же бездомный».

— Генри мне ничего этого не рассказывал, — изумленно проговорил я.

— Поэтому *я* вам это и рассказываю, — отозвался Касс. — В ту ночь я у них и поселился. И жил там почти год. Год. Спал у них на кушетке в главной комнате. Вся семья его наверху. У них тогда были маленькие дети. И вот я говорю себе: этот человек меня вовсе не знает, не знает он, на что я способный. А все ж

доверяет. — Касс покачал головой и отвернулся. — Эта доброта мою жизнь и спасла.

Мы помолчали минуту-другую, ежась от холода. Теперь я знал о старосте прихода «Я страж брату своему» такое, о чем в жизни бы не догадался.

Но я так и не понял одного: для чего он мне все это рассказал?

— Я же вижу, как вы следите за пастором, — сказал Касс. — Ходите сюда, ходите и небось думаете: нет, пасторы такими не бывают. Но я-то точно знаю, что Бог только из-за него и дал мне еще один шанс. Вот умру я, встретит меня Иисус, и услышит, и скажет мне: «Я знаю тебя». И то же самое Господь скажет пастору Ковингтону.

— Но ведь Генри сделал в жизни столько всего дурного, — не унимался я.

— Знаю, — сказал Касс. — И я тоже. Но меня нельзя сравнивать с другими. Бог будет меня сравниваться *мной.* Может, все, что у тебя в жизни есть, — это сделать что-нибудь хорошее. И может, то плохое, что ты сделал, не такое уж плохое. Но может, потому, что Бог сделал тебя так, что ты все время можешь делать что-нибудь хорошее, когда ты делаешь плохое, то… вроде как Его подводишь. И может, люди — ну навроде нас — только и знают, как делать плохое, потому что рядом с ними только плохое и есть. А когда они все-таки делают что-то хорошее, Бог радуется.

И Касс прикусил губу своими чудом уцелевшими зубами. Тут я наконец понял, для чего он мне рассказал всю эту историю.

История-то была не о нем.

— А вы действительно называли Генри «Рэб»? — спросил я.

— А что такого?

— Да так, ничего, — ответил я.

Есть ли на свете хоть что-нибудь, чего нельзя добиться прощением?

Видура

О ПРОЩЕНИИ

До Рождества оставалось всего несколько недель. Я вышел из машины и зашагал к дому Рэба, от холода пряча руки в карманы. За пару недель до этого Рэбу поставили электрокардиостимулятор, и, хотя он выдержал эту процедуру с честью, оглядываясь назад, я думаю, что это была у него уже

последняя «наладка». Здоровье вытекало из него тонкой струйкой, словно воздух из проколотого воздушного шара. Он дожил до своего девяностолетия и на дне рождения шутил со своими детьми: «До девяноста лет я был всему глава, а теперь можете делать что хотите».

Рэб, похоже, достиг своего рубежа. Он уже почти ничего не ел: гренки или какой-нибудь фрукт — вот и вся еда. А если ему удавалось пройтись раз-другой по короткой тропинке перед домом, это уже считалось интенсивной зарядкой. Тила, его индуистская помощница и приятельница, по-прежнему возила его в синагогу. Там ему обязательно кто-нибудь помогал выбраться из машины и пересесть в инвалидную коляску, а вкатившись внутрь, он весело приветствовал приехавших на вечерние занятия детей. В супермаркете он пользовался тележкой для покупок как ходунком, держась за нее изо всех сил, чтобы не упасть, и никогда не упускал случая поболтать с другими покупателями. Верный привычке Великой депрессии, он покупал хлеб и пироги в секции с пятидесятипроцентной скидкой. И всякий раз, когда при этом Тила закатывала глаза, он говорил: «Не то чтоб мне это нужно, но как можно не взять?»

Рэб был жизнерадостным человеком, поразительным Божьим творением, и видеть, как он угасает, было больно и грустно.

Я теперь помогал Рэбу разбирать коробки в его в кабинете. Он то и дело пытался подарить мне какие-нибудь книги, уверяя, что у него сердце кровью обливается оставлять их на произвол судьбы. Я наблюдал, как он катится в коляске от одной стопки вещей к другой, рассматривает их содержимое, вспоминает, потом кладет все на место и передвигается к следующей кипе.

Так, наверное, следует собираться на небеса, — до всего дотронуться и ничего с собой не взять.

— А вам нужно сейчас кого-нибудь простить? — спросил я Рэба.

— Я уже всех простил, — ответил он.

— Всех?

— Всех.

— А они вас простили?

— Надеюсь, что да. Я их об этом попросил. — Рэб отвернулся. — Знаешь, у нас ведь есть такая традиция: когда приходишь на похороны, то надо подойти к гробу и попросить усопшего о прошении за все, в чем ты перед ним виноват.

Лицо Рэба сморщилось.

Я лично не хочу доводить до этого.

Я помню случай, когда Рэб просил прошения у всей нашей конгрегации. Это было во время Великих Праздников, и он в последний раз в качестве главного раввина читал проповедь.

Он мог бы воспользоваться случаем и перечислить свои заслуги. Вместо этого он просил у нас прошения. Он винился в том, что мог бы сохранить больше супружеских пар, чаше навешать больных и в большей мере облегчить боль родителей, потерявших детей. Он винил себя в том, что далеко не всегда мог помочь деньгами вдовам и тем, кто переживал финансовый крах. Он извинялся перед подростками, что недостаточно с ними занимался, и просил прошения за то, что больше не приходил на дневные дискуссии. Он оправдывался даже зато, что из-за болезни и множества дел, на которые приходилось растрачивать драгоценное время, он не успевал каждый день учиться.

А в конце он сказал:

— За все это, Господи милосердный, прости и помилуй.

Фактически это была его последняя «большая» проповедь.

И завершил он ее словами:

— Даруй мне, Господь, искупление грехов моих.

* * *

А теперь Рэб подгонял меня.

— Митч, не стоит на людей злиться или таить обиду. — Он сжал руку в кулак. — Это гложет изнутри и приносит больше вреда тебе, чем тому, на кого ты злишься.

— Так что, просто взять и забыть? — спросил я.

— Или вообще не злиться, — сказал он. — Знаешь, с годами я понял: есть способ разрешать конфликты. Когда у меня с кем-нибудь возникал спор и этот человек приходил со мной поговорить, я ему тут же выдавал: «Знаете, я обдумал наш спор и считаю, что вы в какой-то мере правы». На самом деле я далеко не всегда так думал. Но справиться с конфликтом сразу же становилось проще. Человек расслаблялся. И мы начинали говорить. И напряженная ситуация, как бы это сказать…

— Разряжалась?

— Да, разряжалась. И делать это просто необходимо. Особенно с родными. По нашей традиции мы просим прощения у всех, даже у тех, с кем едва знакомы. Но с самыми близкими — женами, детьми, родителями — наше объяснение мы нередко откладываем и откладываем… А с этим тянуть нельзя. Митч. Может быть слишком поздно.

И Рэб рассказал мне историю. Один человек хоронил свою жену. Он стоял рядом с Рэбом возле ее могилы и плакал.

— Я любил ее, — прошептал он.

Рэб кивнул.

— Я хочу сказать… Я действительно любил ее. — Мужчина зарыдал. — И один раз *я почти что* сказал ей об этом…

Рэб с грустью посмотрел на меня.

— Больше всего в жизни нас мучит то, что мы не успели сказать нашим близким что-то очень важное.

В тот же день, позднее, я попросил Рэба простить меня за все, чем я хоть когда-нибудь его обидел. Он улыбнулся и ответил, что, хотя и не может ничего такого припомнить, «он будет считать, что дело сделано».

— Что ж, — шутливо сказал я, — хорошо, что с этим покончено.

— Считай, что ты передо мной чист как стеклышко.

— Главное, сделать это вовремя.

— Точно. Не зря наши мудрецы велят нам просить прощения за день до смерти.

— Да, но откуда же человеку знать, когда он умрет?

Рэб насмешливо поднял брови.

— О том и речь.

Я дам тебе новое сердце и новую душу.
Я заберу твое каменное сердце и дам тебе живое.

Эзекиль, 36:26

ПРОЗРЕНИЕ

В этот год в Детройте во время рождественской недели казалось, что объявления «НА ПРОДАЖУ» встречались на домах намного чаще, чем огоньки праздничных гирлянд. В отличие от прошлых лет люди в магазинах не толпились, а детям объясняли, что у Санта-Клауса в этом году с подарками туго. Мы всей кожей чувствовали, что надвигается депрессия. Да и по лицам прохожих прочесть это не составляло никакого труда.

На Трамбэл-авеню церковь пастора Генри стояла, погруженная во тьму. Освещение внешней части здания приходу было не по карману, и то, что церковь не пустует, можно было обнаружить, лишь приоткрыв боковую дверь. Я вообще ни разу не

видел, чтобы церковь внутри была полностью освещена. Если свет там и горел, то настолько тускло, что казалось, будто с годами он состарился — заодно с окружавшими его стенами.

Мой вечерний разговоре Кассом натолкнул меня на мысль: если я хочу лучше понять пастора Генри, мне нужно поговорить с его прихожанами.

Парень по имени Дэн — один из немногих белых прихожан в церкви Генри, — рассказал мне, что когда-то он был бездомным алкоголиком и спал на корте для игры в ручной мяч или в одном из детройтских парков. Он выпивал пинту виски и двенадцать кружек пива в день, отключался, а потом, проснувшись, снова начинал пить. Однажды морозной ночью он подошел к церкви и обнаружил, что она закрыта. Генри, сидя в машине, увидел, как Дэн идет прочь от церкви, и окликнул его. А затем спросил, есть ли у него жилье.

— Он понятия не имел, кто я такой, — сказал Дэн. — Я запросто мог оказаться Джеком Потрошителем.

Прожив тридцать дней в церкви, Дэн в конце концов бросил пить.

А невысокая энергичная прихожанка по имени Ширли вспоминала, что в доме Генри по пятницам и субботам порой спало двадцать, а то и тридцать детей. Генри называл эту группу «Мирная команда». Он учил этих детей готовить, играл с ними в игры, но самое главное заключалось в том, что у него в доме дети чувствовали себя в безопасности. Пастор так вдохновил Ширли, что она стала старостой у него в церкви.

Еще один прихожанин, Фрэдди, показал мне на третьем этаже церкви отдельную с деревянной кроватью комнату, куда его поселил Генри, узнав, что он живет на улице. А прихожанка по имени Луанн рассказала, что Генри никогда не берет денег ни за проведение свадьбы, ни за похороны. «С нами Бог расплатится», — обычно говорит он.

А еще была некая Марлен, красивая женщина с печальными миндалевидными глазами. Она рассказала мне о своих несчастьях, — историю о наркомании и жестокости. Беды эти в конечном счете привели к тому, что однажды ночью человек, с которым она жила, вытащил Марлен и ее двухлетнего сына из постели, избил ее и спустил их обоих с лестницы. Скатившись вниз, они наткнулись на старую, утыканную гвоздями доску, и ее сынишка пропорол себе гвоздями лоб. А ее сожитель даже не пустил их в больницу и, окровавленных, держал взаперти.

Через два дня, когда он наконец ушел из дома, Марлен схватила сына и, в чем была, побежала в полицию. В участке

полицейский, выслушав ее, позвонил Генри и предложил ему поговорить с Марлен. В голосе Генри было столько сочувствия и утешения, что женщина, ни разу в жизни не видевшая Генри, попросила полицейских отвезти ее к нему в церковь. Он накормил ее, дал ночлег, и с тех пор она стала прихожанкой его церкви.

Я вдруг подумал: каким образом растут конгрегации в церквях и синагогах? При некоторых из них организуются вечерние школы. В других устраиваются всевозможные мероприятия: лекции, сборы пожертвований, вечера холостяков, карнавалы.

А в приходе «Я страж брату своему» не было ни членских взносов, ни сборов пожертвований, ни вечеров для тех, кто не женат. Число прихожан в нем росло самым старомодным способом — в церковь приходили те, кто отчаянно нуждался в помощи Бога.

* * *

Но с проблемами отопления, да и со счетами Генри справиться так и не удавалось. Воскресные службы по-прежнему проходили в клеенчатой палатке. Бездомные все так же ночевали под шум воздуходувов и ложились спать в пальто и куртках. Ранняя зима, продолжая свое наступление, бездушно облепила снегом ступени и крыльцо главного входа церкви.

Обычно в своих газетных статьях я старался избегать религиозных тем, но на этот раз решил, что читатели «Детройт Фри пресс» должны узнать о положении вещей в церкви Генри. Перед тем как написать ее, я взял интервью у нескольких бездомных, включая бывшего профессионального бейсболиста, который, переночевав однажды в старой машине, отморозил на ногах все пальцы.

Интервью были собраны, но чего-то для статьи все же не хватало.

И вот однажды вечером, перед самым Рождеством, я отправился к Генри в гости. Дом его находился в двух шагах от церкви. Приехав в Детройт шестнадцать лет назад, он купил его за тридцать тысяч взаем. Сейчас скорее всего он стоил и того меньше.

Старый убогий кирпичный фасад, разболтанная калитка и заброшенный участок перед домом. Здесь Генри когда-то раздавал соседям еду; сейчас все было покрыто снегом, льдом и грязью. Рядом был навес, под которым хранились продукты для

бедных, огороженный сеткой, предохранявшей продукты от птичьего разбоя.

Генри сидел в передней комнате на маленькой кушетке, той самой, на которой целый год спаи Касс. Вид у дома был опрятный, но довольно-таки жалкий: краска на стенах шелушилась, потолок в кухне кое-где обвалился. Пастор был простужен, без конца кашлял и казался задумчивей обычного. Возможно, это было связано с наступлением Рождества. На стенах висели фотографии его детей, но было очевидно, что в этом году на рождественские подарки им особенно рассчитывать не приходилось.

В те времена, когда Генри торговал наркотиками, стоило ему захотеть телевизор, и в обмен на «дурь» он тут же получал его. Драгоценности? Дорогая одежда? Только глазом моргни. Чтобы все это заполучить, ему даже не требовалось выходить из дома.

Я спросил Генри, надеялся ли он, вступая в обязанности пастора, что когда-нибудь станет жить лучше, чем прежде.

— Нет, — ответил Генри. — Думаю, мне на роду написано работать с бедняками.

— Но вам вовсе не обязательно подражать их образу жизни, — пошутил я.

Генри оглядел свое убогое жилье и тяжело вздохнул:

— Я здесь на своем месте.

— Что вы имеете в виду?

Генри потупился. И сказал то, что забыть непросто.

— Митч, я ужасный человек. Я такое в своей жизни натворил… Этого не сотрешь. Я нарушил все Десять заповедей.

— Неужели? Все десять?

— Когда был моложе, так или иначе… да, все десять.

— Крал? Лжесвидетельствовал? Возжелал чужое?

— Да.

— Изменял жене?

— Гм.

— Убивал?

— Я не нажимал на курок, но в этом участвовал. Я мог остановить убийцу, и человек остался бы жить. А я не остановил. Значит, я замешан в убийстве.

Генри отвел взгляд.

— Те, с кем я был, резали друг другу глотки. Псы пожирали псов. Сильные охотились за слабыми. Убивали. И такое случалось каждый день. Я ненавижу того человека, каким был. Я сел за решетку за то, чего не делал, но я совершал такое, за что меня давно надо было посадить. — Генри глубоко вздохнул: — Вот кем

я был.

Он опустил голову, и я услышал его натужное дыхание.

— Я заслужил ад, — тихо произнес он. — За то, что я натворил. И Бог будет прав. Бога не обманешь. Что посеешь, то пожнешь. Поэтому я и говорю моим прихожанам: «Не ставьте меня на пьедестал». В своих проповедях я вселяю людям надежду, что они соберут сладкие плоды, хоть и посадили лимоны, но и сам я насажал этих лимонов… — в глазах его стояли слезы, — и свой урожай еще, наверное, не собрал.

— Не понимаю, — сказал я. — Если вы считаете, что вас ждет наказание…

— Зачем служить Богу? — Генри слабо улыбнулся. — А что еще я могу делать? Это напоминает тот момент, когда все отвернулись от Иисуса, а он спросил своих учеников: «И вы тоже уйдете?» А Петр ему ответил: «Куда же мне идти, Господи?» И я знаю, что он хотел сказать. Куда же уйти от Господа? Он везде.

— Но, Генри, все хорошее, что вы сейчас делаете…

— Нет, — Генри покачал головой, — ты не можешь протоптать себе дорожку в рай. Всякий раз, когда ты стараешься оправдаться своими трудами, ты лишаешь себя этого права. Все, что я теперь буду делать здесь до конца моей жизни, я буду делать только для того, чтобы сказать: «Господи, чего бы вечность мне ни уготовила, позволь хоть что-нибудь для тебя сделать. Я знаю, мой счет в игре хуже некуда. Но разреши мне совершить что-то в этой жизни хорошее… до того, как я уйду… — Генри испустил тягостный вздох. — И уж после этого, Господи, я отдамся на твою милость».

Было уже поздно. В комнате у Генри было холодно, словно в ней витал дух его прошлого. Мы помолчали минуту-другую. Я встал, застегнул куртку, пожелал Генри всего наилучшего и вышел на заснеженную улицу.

Я раньше думал, что имею представление обо всем на свете. Я считал себя умным человеком, который «знает, что он делает», и чем выше я взбирался, тем легче мне было смотреть сверху вниз на то, что мне казалось простоватым и глуповатым, в том числе и на религию.

Но возвращаясь домой в тот вечер, я понял: я не умнее и не лучше других, — мне просто больше повезло. И мне должно быть стыдно за свою самонадеянность, потому что можно знать все на свете, но при этом ничего собой не представлять. А сколько людей страдает, несмотря на то что они и умны, и многого в жизни достигли. Они тоскуют, они плачут, им больно. И они не смотрят сверху вниз. Их взгляды устремлены вверх, куда и мне

давно следовало бы обратить свой взор. Потому что если помолчать и прислушаться к себе, то мы поймем: всем нам хочется одного и того же — сочувствия, любви и мира в душе.

Возможно, первую половину своей жизни Генри прожил хуже других, но вторую — скорее всего лучше многих. После этого вечера я больше не задавал себе вопроса: бросает ли прошлое Генри Ковингтона тень на его настоящее и будущее? В Писании сказано: «Не судите». Но у Бога есть на это право, и Генри ни на минуту не забывал об этом. Чего же еще от него можно было потребовать?

Январь

В РАЮ

Наступил январь, а с ним и смена календаря. 2008 год. К концу этого года у нас изберут нового президента, произойдет экономическое землетрясение, многие потеряют уверенность в завтрашнем дне, а число безработных и бездомных дойдет до десятков миллионов. Грозовые тучи мрачно сгущались.

Рэб в молчаливом раздумье бродил из комнаты в комнату. Он пережил Великую депрессию и две мировые войны, и теперь его трудно было поразить какими-либо сногсшибательными событиями. Внешний мир он держал от себя на расстоянии вытянутой руки и сосредоточился на своих внутренних переживаниях. Он молился. Он беседовал с Богом. Он наблюдал, как падает за окном снег. И радовался своим простым повседневным ритуалам: молитве, геркулесовой каше на завтрак, приходу внуков, поездкам с Тилой и телефонным разговорам со старыми приятелями.

Я снова пришел к Рэбу в воскресное утро. Мои родители собирались заглянуть к нему позже и забрать меня на ленч перед моим отлетом в Детройт.

За две недели до этого в субботний вечер наша синагога в честь Рэба устроила празднество, — отмечалось шестидесятилетие его службы. Оно было похоже на вечеринку, которую обычно устраивают родным или друзьям, когда они возвращаются домой после длительного отсутствия.

— Представляешь, — говорил Рэб, изумленно качая головой, — приехали люди, которые годами не видели друг друга. И когда они у меня на глазах обнимались и целовались так, будто нашли без вести пропавших друзей, я плакал. И мы это создали все вместе, своими руками. Это невероятно.

Невероятно? Моя старая синагога? Эта небольшая комната, где мы по утрам праздновали шаббат и другие праздники, и дети, выскакивающие из машин и вприпрыжку бегущие в еврейскую школу? Это что, невероятно? Не слишком ли высокопарное слово? Но потом Рэб молитвенно сложил вместе ладони и прошептал:

— Митч, разве ты не понимаешь? Мы создали общину.

Я, увидев его состарившееся лицо и сутулые плечи, вдруг осознал, что все эти шестьдесят лет он без устали учил нас и помогал стать лучше. Что ж, если вдуматься в слово «невероятно»,

оно скорее всего в данном случае самое подходящее.

— Как они обнимали друг друга… — повторил Рэб, устремив взгляд куда-то вдаль, — знаешь, мне показалось, что я в раю.

* * *

Похоже, что разговора о загробной жизни нам с Рэбом было не избежать. Как бы этот мир ни назывался — рай, мокша, вальхалла, нирвана, — идея загробной жизни почти во всех религиях основополагающая. И чем ближе подходила жизнь Рэба к завершению, тем чаще он задумывался над тем, что ждет его в мире грядущем, или, как он выражался на иврите, в «Олам хабаа». Вот сейчас голос Рэба, его осанка говорили о том, что он ищет ответа. Он словно путник, который взбирается на холм, торопится, пытаясь разглядеть, что же там за его вершиной.

У Рэба уже было куплено место на кладбище, неподалеку от его места рождения, Нью-Йорка, — там, где были похоронены его родители. На этом же кладбище была похоронена и его дочь Рина. Придет время, и все три поколения воссоединятся, по крайней мере в земле, а если сбудется то, во что он верил, — в другом месте тоже.

— Думаете, вы снова встретитесь с Риной? — спросил я.

— Думаю, что да.

— Но ведь она тогда была совсем ребенком.

— Там, — прошептал он, — время не имеет никакого значения.

Однажды в своей проповеди Рэб рассказал притчу о человеке, которому показали рай и ад. В аду усопшие сидели вокруг банкетного стола, ломившегося от деликатесов. Но их вытянутые вперед руки были связаны, и они не могли ничем насладиться на этом пиру вечности. «Это ужасно, — сказал человек. — Покажите мне рай». Его привели в другое помещение, поразительно сходное с первым. Такой же банкетный стол, такие же деликатесы. Единственная разница заключалась в том, что эти усопшие кормили друг друга.

— Вы думаете, на небесах происходит нечто подобное? — спросил я Рэба.

— Откуда мне знать? Я верю, что там что-то есть. Для меня этого достаточно. — Рэб потер подбородок. — Но должен признаться… что я жду смерти даже с некоторым интересом, поскольку скоро узнаю ответ на этот мучительный вопрос.

— Не говорите таких слов…

— Каких слов?

— Не говорите о смерти.

— Почему же? Разговоры о ней тебя расстраивают?

— Ну… я хочу сказать… Людям неприятно слышать это слово.

Это прозвучало совсем по-детски.

— Митч, послушай… — Рэб понизил голос и обхватил себя руками за плечи.

На нем сегодня была клетчатая фланелевая рубашка, никак не сочетавшаяся с синими штанами, а поверх нее теплый свитер.

— Я знаю, что есть люди, которым будет нелегко после того, как я умру. Я знаю, что моим родным, всем тем, кого я люблю, — надеюсь, и тебе тоже, — будет меня не хватать.

Мне-то наверняка будет его не хватать. Он даже не догадывается насколько.

— Отец наш. Господи, выслушай меня, пожалуйста, — протяжно заговорил Рэб, устремив взгляд наверх. — Я счастливый человек. Мне в этой жизни многое удалось. Мне удалось даже немного усовершенствовать Митча… — Рэб указал на меня сморщенным старческим пальцем. — Но этот человек все еще задает вопросы. Поэтому, Господи, подари ему еще долгие лета, чтобы, когда мы с ним воссоединимся, нам было о чем потолковать. — Рэб лукаво улыбнулся: — Ну что?

— Спасибо, — сказал я.

— На здоровье, — ответил он и заморгал.

— А вы правда думаете, что мы снова когда-нибудь встретимся?

— А ты разве так не думаешь?

— Да ну что вы, — робко возразил я, — вы там будете совсем на другом уровне.

— Митч, ну что ты такое говоришь?

— Вы же Божий человек.

Он посмотрел на меня с благодарностью.

— Ты тоже Божий человек, — шепотом произнес он. — Как и каждый из нас.

И тут в нашу беседу ворвался звук дверного звонка. Я услышал в соседней комнате голоса моих родителей и Сары. Я принялся собирать свои пожитки. А потом зачем-то напомнил Рэбу, что через несколько недель грядет «Супербоул»[25].

— А, «Супербоул», — проворковал он, что само по себе было довольно забавно, так как вряд ли он хоть когда-нибудь его смотрел.

В комнату вошли мои родители, и пока я застегивал молнию сумки и собирался, они поздоровались и принялись болтать с Рэбом. Ему нелегко было подниматься с кресла, и он беседовал с ними сидя.

Забавно, как история повторяется. Сорок лет назад воскресным утром родители забирали меня из религиозной школы, отец сидел за рулем, и мы все вместе ехали куда-нибудь на ленч. Разница была лишь в том, что раньше я убегал от Рэба, а теперь мне не хотелось от него уходить.

— Едете на ленч? — спросил Рэб.

— Да, едем на ленч, — ответил я.

— Это хорошо. Всей семьей. Так и должно быть.

Я обнял его. А он обхватил меня за шею, — намного крепче обычного.

И тут же вспомнил нужную песню.

— «Идите наслаждайтесь! Жизнь, увы, не бесконечна»[26].

В ту минуту я и не догадывался, насколько уместной была эта песня.

ЦЕРКОВЬ

— Вы должны к нам приехать, тут есть на что посмотреть, — Генри даже не скрывал своего возбуждения.

Я вышел из машины и заметил, что автомобилей на улице больше обычного, из боковой двери одни люди выходили, а другие тут же в нее входили, и лица этих людей были мне совсем незнакомы. Среди них были и афроамериканцы, и белые. И одеты они были существенно лучше, чем прихожане этой церкви.

Когда я ступил на помост, Генри тут же заметил меня, улыбнулся во весь рот и распахнул объятия.

— От всей души спасибо, — произнес он и стиснул меня огромными голыми ручищами.

И тут до меня дошло. Он же в футболке!

В церкви снова топили.

— Здесь прямо как в Майами-Бич! — вскричал Генри.

Оказалось, что газовая компания, пристыженная газетными статьями, возобновила свое обслуживание. Был подписан договор, по которому церковь обязалась постепенно выплачивать свой долг. И еще объявилось немало людей, которых тронула статья о церкви Генри. Именно их я сегодня и видел. Они пришли готовить еду и сервировать столы. За ними сидело множество бездомных — мужчин и женщин, — и почти все они сняли с себя

теплую одежду. А вместо какофонии воздуходувов раздавался приятный гул беседы.

— Потрясающе, верно? — сказал Генри. — Бог нам благоволит.

Я спустился в спортивный зал и увидел человека, о котором написал в своей статье — того самого, что отморозил себе пальцы ног. В статье я упомянул, что восемь лет назад его оставила жена, уйдя от него вместе с дочерью, из-за чего он опустился. Судя по всему, кто-то увидел его снимок в газете и сообразил, что надо сделать.

— Сейчас увижу, — сказал он мне.

— Кого? Жену?

— И мою девочку тоже.

— Прямо сейчас?

— Ага. Восемь лет, парень!

Он засопел. Ему явно хотелось что-то сказать.

— Спасибо, — наконец прошептал он и исчез.

Пожалуй, никогда прежде меня так не трогало слово «спасибо».

Я уже собрался уходить, когда заметил ковыляющего на костылях Касса.

— Мистер Митч, — певуче позвал он меня.

— Стало немного теплее, а? — спросил я.

— Да, сэр, — ответил он. — И наши тоже все повеселели.

Тут я заметил длинную очередь. Поначалу я решил, что люди выстроились за едой — наверное, за добавкой, подумал я, — но, приглядевшись, увидел, что за столом, к которому тянулась очередь, стояли волонтеры и раздавали одежду.

Какой-то крупный мужчина, натянув на себя зимнюю куртку, крикнул Генри:

— А что, пастор, побольше размера у тебя нету?

Генри рассмеялся.

— Что тут происходит? — спросил я.

— Нам пожертвовали одежду, — сказал Генри.

Я насчитал несколько больших стопок с вещами.

— Приличное количество, — заметил я.

Генри посмотрел на Касса.

— Он еще не видел?

И не успел я опомниться, как уже шествовал за дородным Генри и одноногим старостой, с улыбкой размышляя о том, что вечно плетусь по пятам за верующими.

Касс вынул из кармана ключ. Генри распахнул дверь, и мы вошли в главное помещение церкви.

— Смотрите! — сказал Генри.

Между рядами скамеек один за другим стояли мешки с легкой одеждой, куртками, пальто, ботинками, игрушками — все проходы от первого до последнего были уставлены мешками.

У меня перехватило дыхание. Генри был прав. «Каким бы именем люди Его ни называли, — подумал я, — но Бог и вправду милосерден».

ИЗ ПРОПОВЕДИ РЭБА, ГОД 2000-й

— Дорогие друзья, я умираю.

Не огорчайтесь. Я умираю уже с шестого июля 1917 года. В этот день я родился, и, как сказал автор псалмов, «Мы — те, кто родился, родились, чтобы умереть».

Так вот, я слышал на эту тему один анекдот. Пастора послали провести службу в некой деревенской церкви, и он начал свою проповедь с тревожного напоминания: «Каждый прихожанин этого прихода умрет!» Пастор оглядел паству и вдруг увидел, что какой-то человек, сидящий в первом ряду, широко улыбается. «И что же в этом смешного?» — спросил его пастор. «Я-то не прихожанин этой церкви, — ответил тот. — Я просто приехал на выходной навестить сестру».

Февраль

ПРОЩАНИЕ

Машина подкатила к супермаркету. Стояла первая неделя февраля, и земля была засыпана снегом. Рэб смотрел в окно. Тила нашла парковку, выключила зажигание и спросила Рэба, пойдет ли он вместе с ней.

— Я немного устал, — сказал он. — Я лучше здесь подожду.

Это был явно недобрый знак. Рэб обожал супермаркеты, и если он отказывался туда идти, значит, что-то было неладно.

— Вы не могли бы включить музыку? — попросил он.

И пока Тила покупала хлеб, молоко и сливовый сок, Рэб сидел в машине на заснеженной парковке совсем один и слушал индийскую музыку. Последний раз в этом мире он был наедине с самим собой.

К тому времени, когда они вернулись домой, Рэб выглядел совсем слабым, и у него начались мучительные боли. Позвонили врачу. Рэба увезли в больницу. Там медсестры задали ему простые вопросы: как его зовут? где он живет? И он на них ответил. Он, правда, не мог вспомнить точной латы, но зато помнил, что в этот день проходили первичные выборы, и пошутил: «Если тот, за кого я голосую, наберет на один голос меньше и проиграет, я покончу с собой».

Рэбу сделали анализы. Родные не покидали его ни на минуту. На следующий вечер с ним сидела его младшая дочь Гиля. Она должна была вот-вот улететь в Израиль и волновалась, не стоит ли ей отложить поездку.

— Не думаю, что мне следует лететь, — засомневалась она.

— Поезжай, — сказал Рэб. — Не волнуйся, я в твое отсутствие ничего не натворю.

Он закрыл глаза. Гиля позвала медсестру и попросила ее дать отцу лекарство немного раньше, чтобы он мог скорее заснуть.

— Гиль… — пробормотал Рэб.

Гиля взяла его за руку.

— Не забывай вспоминать.

— Хорошо, — ответила Гиля и заплакала. — Теперь я уж точно никуда не поеду.

— Поезжай, — сказал Рэб. — Вспоминать можно и там.

Она посидела с ним еще какое-то время. Отец и дочь наедине друг с другом. Наконец Гиля нехотя поднялась. Поцеловала его

на прощание.

Медсестра дала ему лекарства. Она уже стояла в дверях, когда Рэб прошептал ей вслед:

— Если вы погасите свет, будьте добры загляните ко мне разок-другой. Вы ведь не забудете обо мне?

Медсестра улыбнулась:

— Как же можно забыть о поющем раввине?

На следующее утро, вскоре после восхода солнца Рэб проснулся. В комнате стояла тишина. Медсестра пришла протереть его губкой, и пока она нежно водила губкой по его телу, он ей тихонько что-то напевал, готовый к новому дню.

Но вдруг голова его поникла, и пение навсегда умолкло.

Лето. Мы сидим у него в кабинете. Я спросил, почему, как ему кажется, он стал раввином.

Рэб начинает загибать пальцы.

— Во-первых, я всегда любил общаться с людьми. Во-вторых, мне нравилось относиться к ним с тактом и дружелюбием. В-третьих, у меня есть терпение. В-четвертых, я люблю преподавать. В-пятых, я крепок в своей вере. В-шестых, эта работа соединяет меня с прошлым. И наконец, в-седьмых, она позволяет мне воплотить то, чему учит наша традиция: живи достойно, твори добро и будь благословен.

— Но в этом перечне отсутствует Бог.

Рэб улыбнулся:

— Бог в нем стоит еще до «во-первых».

ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ

Синагога была полна народу. Ни одного свободного места. Люди бормотали друг другу приветствия, обнимались, плакали, и все как один старательно отворачивались от сцены. На любой похоронной службе все лица обращены на сцену, но как часто сцена является тем местом, которое оставил покойный? Он обычно сидел в этом кресле… Он всегда стоял за этой кафедрой…

После тяжелого инсульта Рэб прожил еще несколько безмятежных дней — в коме. За это время его жена, дети и внуки успели прошептать ему на ухо прощальные слова. И я сделал то же самое. Я гладил его густые седые волосы, прижимался щекой к его щеке и обещал, что он не умрет еще раз, что его не забудут, что, пока я жив, этого не случится. За эти восемь лет я ни разу не плакал в присутствии Рэба.

А когда я заплакал, он уже этого не видел.

Я вернулся домой и стал ждать звонка. Я не мог приступить к прощальной речи. Я считал, что пока Рэб жив, делать этого нельзя. У меня было собрано все: и пленки, и записи, и снимки, и готовые тексты, и вырезки из газет, и даже потрепанный учебник с семейной фотографией.

Раздался звонок. Я сел писать прощальную речь. А на все те материалы, что я для нее подготовил, даже ни разу не взглянул.

В куртке у меня лежало несколько отпечатанных страничек — последняя просьба Рэба. У меня ушло восемь лет на то, что, по моим предположениям, должно было занять не более двух-трех недель. Мне уже было далеко за сорок, и выглядел я намного старше.

Я стал вспоминать, как это все началось.

«Ты не мог бы сказать прощальную речь на моих похоронах?»

Этот вопрос словно был из другой жизни.

И началась тихая, полная достоинства служба, — за шестьдесят лет первая служба, которую Альберт Льюис не вел сам и в которой даже не участвовал. Через несколько минут, после того как прочитали молитвы, раввин Стивен Линдман — ему в свое время Рэб милостиво уступил свое место — с любовью заговорил о своем предшественнике. «Эту потерю невозможно возместить», — сказал он. И эту фразу я теперь повторяю снова и снова.

А потом все умолкли. Наступила моя очередь.

Я поднялся по застланным ковром ступеням и прошел мимо гроба, в котором лежал человек, воспитавший меня в этом молитвенном доме, воспитавший во мне веру — свою прекрасную веру, — и почувствовал, что начинаю задыхаться. Я понял, что должен хоть на мгновение остановиться, чтобы прийти в себя.

И вот я оказался там, где обычно стоял он.

Я наклонился вперед и заговорил:

— Дорогой Рэб!

Что ж, вы наконец-то этого дождались. Вам все-таки удалось собрать нас всех здесь, и не в дни Великих Праздников.

В глубине души я знал, что этого дня не избежать. И все же сейчас я чувствую себя не на месте. Я должен сидеть там, внизу. А здесь должны стоять вы. Здесь — ваше место. Отсюда вы всегда проявляли о нас заботу, вы вели нас за собой, вы просвещали нас, вы пели нам, вы задавали непростые вопросы, с этого места вы говорили обо всем, начиная с иудейского закона и кончая номером страницы, на которой надо было открыть молитвенник.

Казалось, что Вселенная устроена так: мы — где-то внизу, Бог

— наверху, а вы — посредине между нами. Когда нам страшно было оказаться лицом к лицу с Богом, мы сначала шли к вам, — вроде как подружиться с секретаршей, прежде чем войти в кабинет начальника.

Но где же нам искать вас теперь?

Восемь лет назад я произнес в этом зале речь, и после нее вы подошли ко мне и сказали, что у вас есть ко мне просьба. Вы спросили меня, не смогу ли я произнести на ваших похоронах прощальную речь. Я был потрясен. Я и по сей день не знаю, почему вы выбрали именно меня.

Но когда вы обратились ко мне с этой просьбой, я сразу же понял, что, во-первых, не смогу вам в ней отказать, а во-вторых, что должен узнать вас поближе, и не только как священнослужителя, но и как человека. Мы начали встречаться. У вас в офисе, у вас дома, час — здесь, два часа — там.

Неделя обернулась месяцем. Месяц — годом. Восемь лет спустя я порой задумываюсь: а не было ли все это ловким трюком заманить меня на образовательные курсы для взрослых? Во время наших встреч вы смеялись и плакали, мы спорили и обсуждали всевозможные идеи — серьезные и незначительные. Я узнал, что, помимо мантии, вы иногда ходите в черных носках и сандалиях — видок еще тот! — в шортах по колено, в клетчатых рубашках и теплых жилетах. Я узнал, что вы завалили дом старыми письмами, вырезками статей, карандашными рисунками и выпусками газеты нашей синагоги за много-много лет. Одни накапливают горы одежды, другие коллекционируют машины. Вы же пытались сохранить каждую интересную мысль, что попадалась вам на пути. Однажды я заявил вам, что в отличие от вас я не Божий человек. А вы возразили мне: «Ты — Божий человек». И еще вы сказали: «Ты найдешь, что сказать, когда придет этот день».

Вот он и пришел. День настал, и вас с нами нет.

И здесь за кафедрой совсем пустынно.

Ну что ж, начнем с биографии — любая прощальная речь должна начинаться с биографии. Вы родились в городе Нью-Йорке во время Первой мировой войны, ваша семья жила в страшной нищете, однако ваш отец, даже отправившись на Аляску, ни разу не нарушил закон кашрута[27]. Ваш дед и отец вашей жены были раввинами — на вашем семейном древе раввинов не счесть, — а вы, несмотря на это, хотели стать учителем истории. Вы любили преподавать. И все же вы попытались стать раввином, но у вас не получилось. Тогда выдающийся еврейский ученый сказал вам три слова, которые вы

потом не единожды повторяли многим из нас: «попытайся еще раз».

И вы послушались. Слава Богу, что вы на это решились.

В то время, когда вы получили звание раввина, стало популярным уезжать на Западное побережье, в Калифорнию. Там строились и процветали новые синагоги. А вы, вместо того чтобы лететь в Калифорнию, сели в автобус и, проехав пару часов по шоссе Нью-Джерси — Тернпайк, оказались в конгрегации, которая едва выживала и ютилась в старом полуразрушенном доме. Вы сделали это потому, что, как Джимми Стюарт в фильме «Эта прекрасная жизнь», чувствовали необходимость быть поближе к своей семье. И так же, как герой этого фильма, вы остались в этом месте навсегда. А потом построили новую синагогу. Некоторые, наверное, скажут, что вы «принесли ее сюда на своих плечах».

Благодаря вашей сердечной заботе маленькая синагога превратилась в большую и процветающую. Но она находилась между двумя церквями — ситуация неоднозначная. Однако вам всегда удавалось разрешать даже самые сложные конфликты. Как-то раз случилось так, что католический священник из соседней церкви обидел одного из членов нашей синагоги, и вы настояли, чтобы он извинился. А когда примирение произошло, вы дождались перемены в католической школе, и дети, высыпавшие на школьный двор, увидели, как вы прогуливались со священником под руку, демонстрируя детям-католикам, что разные веры могут мирно соседствовать друг с другом.

Вы умели нас защитить. Вы стояли за нас горой. Вы привлекали все новых и новых членов, вы построили еврейскую школу, и наша религиозная община так разрослась, что стала трещать по швам. Вы возглавляли наши демонстрации. Вы возили нас на экскурсии. Вы приходили к людям домой, когда у них случалось несчастье. Вы навещали тех, кто был в беде. Бессчетное число раз.

Вы были священнослужителем. И вы служили людям. Вы никогда над ними не возносились. И люди стремились вас услышать. На каждую вашу проповедь стекались толпы, как будто пропустить ее было страшным грехом. Я знаю, вы терпеть не могли, когда после службы люди с шумом устремлялись к выходу. Но, Рэб, подумайте о тех молельных домах, где прихожане спешат к выходу до начала проповеди!

Шесть десятилетий подряд вы были нашим раввином, а когда ушли с этого поста, не переселились, как многие другие, во Флориду, а заняли место в последнем ряду молельной комнаты. Такие поступки свойственны скромным людям. Но задвинуть вас в задний ряд так же трудно, как невозможно человеку заглушить

голос своего сердца.

Здесь, Рэб, ваш дом. Вы в его балках, в его половицах, в его стенах, в его светильниках. Эхо в каждом коридоре разносит ваши слова. Мы и сейчас слышим ваш голос. Я все еще слышу ваш голос.

Как я могу — как мы можем — с вами проститься? Вы часть нашей жизни — от рождения до смерти. Вы нас учили, вы нас женили, вы нас утешали. Вы были у нас на свадьбах, вы были у нас на похоронах, вы были рядом с нами в самые важные минуты нашей жизни. Когда у нас случалась беда, вы придавали нам мужества, когда мы в гневе кричали на Бога, вы раздували искорки нашей веры и напоминали нам слова мудреца о том, что цельным человеком может стать лишь тот, у кого разбито сердце.

Посмотрите, сколько здесь сегодня разбитых сердец. Посмотрите на лица людей в этом зале. Всю мою жизнь у меня был один-единственный раввин. Всю вашу жизнь у вас была одна-единственная конгрегация. Может ли хоть кто-нибудь из нас попрощаться с вами, не расставшись с частицей самого себя?

Где нам теперь вас найти?

Помните, Рэб, как вы мне рассказывали о своем детстве в Бронксе, о жизни тесной, сплоченной общины, о том, что однажды, когда вы, ребенком, толкнули плечом тележку, в надежде, что с нее упадет яблоко, тут же с пятого этажа донесся крик соседки: «Альберт, этого делать нельзя!» Бог то и дело грозил вам пальцем.

А потом вы стали для нас этим самым грозящем пальцем. Знаете ли вы, сколько добра вы сделали, остановив нас на пороге зла? Многие из нас уехали отсюда: поселились в других краях, поменяли климат, работу, но и для них вы все тот же — наш старый, добрый раввин. Мы смотрим в окно и снова видим ваше лицо, слышим ваш голос.

Но где нам теперь вас найти?

В наши последние встречи вы часто заводили разговор о смерти и том, что происходит после нее. И тогда вы поднимали кверху лицо и напевали: «Ну, Господь, если хочешь меня забрать, забирай. Только пусть мне будет не бо-о-ольно».

Между прочим, Рэб, к вопросу о пении. Уолт Уитмен воспел «электричество в теле». Билли Холидей пела блюзы. А вы пели… все. Вы могли бы спеть даже телефонную книгу. Я, бывало, звонил и спрашивал, как вы себя чувствуете, а вы в ответ: «Старик равви-ин совсем уже не то-о-от…»

Я вас дразнил за пение, хотя на самом деле оно мне очень

нравилось. И всем остальным тоже. Я не удивляюсь, что еще несколько дней назад, когда медсестра пришла вымыть вас, вы, едва живой, запели. Мне хотелось бы думать, что Богу было настолько приятно видеть, как вы радуетесь жизни и как поете даже в больнице, что Он решил забрать вас к себе на полукуплете вашей песни.

И вот теперь вы рядом с Богом. Я в это верю. Вы сказали мне как-то, что ваше самое большое желание после смерти — хоть как-нибудь сообщить нам, что вы благополучно добрались до места назначения. Даже умирая, вам, похоже, хотелось прочитать еще одну проповедь.

Но вы знали, что есть необъяснимая, умопомрачительная причина, по которой вы сегодня не можете с нами говорить, потому что, если бы вы могли, нам, возможно, не нужна была бы вера. А для вас вера была важнее всего на свете. Вы были тем самым коммивояжером из еврейской притчи, которую любили цитировать, коммивояжером, который каждый день стучался в дверь возможного покупателя и с улыбкой предлагал свой товар, пока покупателю эта настырность настолько надоела, что он плюнул коммивояжеру в лицо. А тот вытер носовым платком плевок, снова улыбнулся и сказал: «Похоже, идет дождь».

Сегодня люди тоже достают носовые платки, но не потому, что идет дождь. А потому, что нам невыносимо тяжело с вами расставаться. Потому, что некоторым из нас хочется попросить у вас прощение за то, что порой своими поступками мы словно прогоняли вас прочь, за то, что мы плевали в лицо своей вере.

Мне не хотелось произносить эту речь. Я боялся. Мне казалось, что рядовой член синагоги не должен выступать с речью о ее лидере. Но потом я понял, что сегодня тысячи членов нашей синагоги будут говорить о вас речи — в машине и дома за обеденным столом. Ведь прощальная речь не что иное, как собранные воедино воспоминания. А мы всегда будем помнить вас. Мы не сможем вас забыть потому, что каждый день в нашей жизни нам будет вас не хватать. Стоит представить мир без вас, и кажется, будто в нем поубавилось Божественного присутствия, а поскольку такое невозможно, то невероятно трудно поверить в то, что вас больше нет.

Но я думаю, что вы стали частицей Его славы, звездой на небе и теплой искрой в наших сердцах. Я верю, что вы воссоединились с вашими предками, с вашей дочерью, с вашим прошлым и что на душе у вас спокойно.

Да хранит вас Бог, да поет Он вам песни, а вы — Ему.

Где же нам найти вас, Рэб?

Мы найдем вас там, куда вы, добрый служитель Бога, всегда нас направляли.

Мы поднимаем глаза к небу.

ТО, ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ

Пустота неосязаема, но после смерти Рэба, клянусь, я ощущал ее физически, особенно по воскресеньям, когда я обычно ездил к нему на поезде из Нью-Йорка. Со временем я заполнил этот пробел визитами поближе к дому — посещениями пастора Генри и его церкви на Трамбэл-авеню. Я лучше узнал его прихожан. Я получал удовольствие от его проповедей. И хотя теперь, как никогда прежде, я чувствовал себя верующим иудеем, Генри шутливо прозвал меня «своим первым официальным еврейским прихожанином». Я стал приходить в те вечера, когда там ночевали бездомные, и писать о них рассказы. Читателей эти истории трогали, и некоторые даже присылали деньги: кто пять долларов, кто — десять. А один из читателей, проехав час по Мичиганскому шоссе, зашел в церковь, огляделся, застыл в изумлении и, протянув Генри чек на тысячу долларов, тут же исчез.

Генри открыл в банке счет специально для ремонтных работ в церкви. Появились новые волонтеры, приходившие помочь в приюте для бездомных. А как-то раз в воскресенье большая пригородная церковь «Христианская ассамблея Нортвиля» пригласила Генри выступить в ней. Я поехал послушать его проповедь. На Генри была длинная черная мантия, в руках беспроволочный микрофон. Отрывки, которые он читал из Писания, высвечивались на двух огромных экранах. Освещение было превосходным, потолок массивным и сухим, звучание голосов — как в концертном зале, а на сцене даже стоял огромный рояль. И почти все прихожане — белые люди из среднего класса. Но Генри и тут остался самим собой. Не успел никто и глазом моргнуть, как он уже расхаживал по сцене, призывая прихожан не растрачивать попусту свои таланты, как в свое время поучал в одной из притч Иисус. Генри советовал им, не стесняясь, применять их в его церкви. «Если вы жаждете увидеть чудеса, на которые способен наш Господь, — говорил он, — то перед вами одно из них».

Когда он закончил свою проповедь, все встали и начали аплодировать. Генри сошел с кафедры и скромно поклонился.

Я вспомнил его полуразвалившуюся церковь. И подумал, что, наверное, в крыше каждого дома есть дыра, сквозь которую

льются слезы и вихрем влетают несчастья. Мы чувствуем свою уязвимость и тревожимся: какая еще беда ждет нас на пороге?

В тот день я смотрел на Генри, окруженного новыми веселыми лицами, и мне мгновенно вспомнились слова Рэба: «Даже с каплей веры люди способны исправлять дурное и меняться». В ту минуту не верить в это было просто невозможно.

* * *

Я пишу эти строки, а на дворе холодно, и синий брезент на крыше церкви завален снегом, но, как только потеплеет, — а это обязательно должно случиться, — мы починим крышу. Наступит день, говорю я Генри, и мы сможем это сделать. Мы пробудим в людях великодушие, соберем деньги и заменим эту дырявую крышу новой. Мы сделаем это, потому что это необходимо, потому что просто нельзя поступить иначе.

И еще мы сделаем это ради девчушки, дочки прихожан, что родилась недоношенной, весом всего в несколько фунтов. Врачи не верили, что она выживет, но ее родители молились и молились, и она выжила, и теперь этот комочек энергии излучает такую улыбку, которой можно оживить мертвого. Ее приводят в церковь почти каждый вечер. Она скачет между столами, за которыми сидят бездомные, и кокетливо подставляет им свою головку — пусть погладят. У нее мало игрушек и нет никаких послешкольных занятий, но она — член общины, и у нее есть домашний очаг и семья.

Ее отец — одноногий инвалид по имени Касс, а мать — бывшая наркоманка Марлен. И поженил их пастор Генри Ковингтон в церкви «Я страж брату своему».

А через год родилась эта чудесная девочка, которая теперь скачет вокруг нас, точно на своей собственной божественной игровой площадке.

И зовут ее Мирэкл — Чудо.

Сила духа — вещь поразительная.

* * *

Я часто задавался вопросом, почему все-таки Рэб попросил произнести прощальную речь именно меня. Я спрашивал себя: может быть, это было нужно не столько ему, сколько мне? И вот всего через несколько минут после моей речи Рэб выложил свою козырную карту.

Перед завершающей службу молитвой кантора на сцену вдруг поднялся внук Рэба Рон, на глазах у всех поставил магнитофонную пленку, нажал на кнопку, и в зале, где столько раз звучали мудрые речи Альберта Льюиса, снова зазвучал его голос:

— Дорогие друзья, вы слышите голос вашего бывшего раввина…

Рэб сделал эту запись специально для того, чтобы ее воспроизвели после его смерти. Он рассказал о ней только своей помощнице Тиле, и та привезла эту запись его родным. Речь была короткая. В ней Рэб ответил на два вопроса, которые, в его бытность раввином, ему задавали чаще всего.

Первый вопрос был такой: верил он в Бога или нет? И Рэб ответил, что верил.

Второй вопрос был о загробной жизни: есть она или нет?

— Здесь, на Земле, я бы ответил так: да, там что-то есть. Но, друзья мои, я прошу у вас прощения: сейчас, когда я знаю наверняка, что именно там есть, я, I сожалению… не могу вам об этом рассказать.

И все рассмеялись.

Я не забыл про папку с надписью «Бог». Через несколько месяцев после смерти Рэба я отправился к нему домой посмотреть, что же в ней хранилось. Я достал ее с полки, и меня пробрала дрожь. Восемь лет подряд я смотрел на эту надпись «Бог», и в конце концов мне стало казаться, что от нее веет каким-то божественным дуновением.

Я обвел взглядом пустой кабинет и почувствовал, что внутри у меня все сжалось. Если б только рядом со мной был Рэб. Я резким движением открыл папку.

И он оказался рядом со мной.

В папке лежали сотни вырезок из статей и множество заметок Рэба, подготовленных для проповедей, испещренных вопросами, стрелками и замечаниями, начерканными рукой моего раввина. Все они были о Боге. И тут до меня наконец дошло: суть моих встреч с Рэбом и Генри заключалась не в сделанных мной выводах, а в поиске, в исследовании, в продвижении к вере. Нельзя открыть шкатулку и увидеть там Бога. Но если слушать истории, изучать традиции, высказывания мудрецов, то со временем уже не придется лезть на верхнюю полку — Бог окажется рядом с тобой.

Знаете ли вы хоть одного верующего человека? Пытались ли вы убежать от него? Если пытались, остановитесь. Посидите спокойно минуту-другую. Выпейте стакан воды. Съешьте кусок

кукурузного хлеба. И возможно, вы поймете, что вам есть чему поучиться. Вера не кусается. И не отнимает у человека силы. Она лишь утверждает, что в каждом из нас есть искра Божья. И возможно, эта искра когда-нибудь спасет мир.

* * *

В зале звучали последние прощальные слова Рэба: «Пожалуйста, любите друг друга, говорите друг с другом, не допускайте, чтобы из-за ничтожных раздоров рушилась дружба…»

А потом он запел на простейшую мелодию:

До свиданья, друзья, до свиданья.
Мы увидимся снова, друзья.
До свиданья, друзья, до свиданья.

И зал подхватил последнюю строчку.

Наверное, это была самая громкая из всех когда-либо звучавших здесь молитв.

Я так и знал, что Рэб уйдет со сцены, напевая.

ЭПИЛОГ

Еще одно воспоминание.

Это случилось незадолго до смерти Рэба.

Он говорил о загробной жизни, а мне вдруг, ни с того ни с сего, пришла в голову одна мысль.

— Представьте себе, что у вас есть пять минут наедине с Господом Богом.

— Пять минут? — переспросил он.

— Да, пять минут, — повторил я. — У Бога тьма дел. А вы уже на небесах. У вас есть пять минут наедине с Богом, а потом — раз, и Его больше нет.

— И что же происходит в эти пять минут? — заинтригованно спросил Рэб.

— В эти пять минут вы можете задать Ему любой вопрос.

— Понял.

Рэб откинулся в кресле, и вид У него был такой, будто он советуется с окружающим воздухом.

— Сначала я скажу вот что: «Милостивый Бог, если можешь, сделай мне одолжение: укажи моим оставшимся на Земле родным — тем, кому нужна помощь, — правильную дорогу. Хоть немного помоги им разобраться в жизни».

— Хорошо — на это уйдет минута.

— Потом я скажу: «А следующие три минуты посвяти тем, кто страдает и кому нужна твоя любовь и твой совет».

— То есть эти три минуты вы отдадите другим?

— Если есть те, кто в них нуждается, конечно, отдам.

— Хорошо. У вас остается еще одна минута.

— Так вот, в эту последнюю минуту я скажу: «Послушай, Господи, я совершил на Земле кое-какие добрые дела. Я старался следовать Твоим учениям и передать их другим. Я любил своих родных. Я был частью общины. И, как мне кажется, хорошо относился к людям. Какая же, милосердный Господь, мне за это будет награда?»

— И что же, вы думаете, Бог вам ответит?

Рэб улыбнулся:

— Он скажет: «Награда? Какая такая награда? Именно это ты и *должен* был делать».

Я рассмеялся, и Рэб тоже. Он хлопнул себя по бокам, и нашим смехом огласился весь дом. Я думаю, что в ту минуту мы с ним могли быть где угодно, кем угодно, принадлежать какой угодно вере и какой угодно культуре — учитель и ученик, познающие жизнь и получающие от своих познаний истинное удовольствие.

Вначале был вопрос. В конце на него приходит ответ. Бог поет, мы подпеваем, и подпевать можно на самые разные мотивы, но песня всегда одна — одна и та же, человеческая песня.

Господи, до чего же я влюблен в надежду!

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит семьи Альберта Льюиса и Генри Ковингтона — их жен: Сару Льюис и Аннету Ковингтон, детей Рэба: Шалома, Ору и Гилю и детей пастора Генри: Лакиму, Кендрика, Кишию и Тиффани. Читать рассказ о муже или об отце нелегко, и я необычайно благодарен всем им за понимание и дружелюбие. Я также благодарен супругам детей Рэба: Синди Льюис, Шимону Липски, Брайну Зейтс и многочисленным внукам Рэба.

В подготовке этой книги приняли участие Энтони «Касс» Кастелоу, доктор Чад Оди из «Спасительной церковной миссии Детройта», раввин Стивен Линдман, а также Тила Сингх, Эдди Эделман, Норм Трэск, сотрудники синагоги «Темпл Бейт Шолом» и члены прихода «Я страж брату своему» (некоторые имена в книге были изменены). Я благодарю Мэтти и Лизу Гольдберг за их помощь в подготовке материалов и Рона Липски, который выразил свою глубокую любовь и нежность к деду в замечательном фильме.

Я также глубоко благодарен моему преданному редактору Лезли Уэлс и сотрудникам издательства «Гиперион»: Эллен Арчер, Уиллу Боллету, Филу Роуз, Дэвиду Лотту, Винсенту Стэнли, Кристине Кайзер, Минди Стокфилд, Джессике Вайнер, Мари Кулман, Махе Калиль, Саре Ракер, Сэлли Энн Мак-Картин и Майклу Ротондо.

И, как всегда, я благодарен чудесной команде агентства «Блэк»: Дэвиду, Сьюзен, Антонелле, Анник, Джой, Ли Энн и Дэйву. И еще спасибо тем, кто первым прочел эти строки, — моим родным — Роузи, и, конечно, Жанин, — человеку, благодарность которому ни с чем не соизмерима.

И наконец, я салютую моему родному Южному Джерси, которое я в свое время не оценил по достоинству, и моему теперешнему месту жительства — Детройту, который я, наверное, ценю больше всех других городов. Это особое место, в нем проживают особые люди, и я горжусь тем, что я живу среди них.

Митч Элбом

Детройт, штат Мичиган

Июнь 2009 года

notes

Примечания

1

Речь идет об американском издании романа. — *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Входите! *(фр.)*

3

В иудаизме — обряд, знаменующий вступление мальчика в религиозное совершеннолетие, которое наступает по достижении тринадцати лет.

4

Популярный певец афроамериканского происхождения. Исполнитель песен в стиле соул.

5

«Нью-Йорк Янкис» — одна из самых знаменитых бейсбольных команд.

6

У иудеев годовщина смерти кого-то из близких родственников.

7

В бейсболе — игрок, бросающий мяч.

8

Духовные песни афроамериканцев.

9

Песах — весенний еврейский праздник в честь Исхода из Египта и освобождения евреев от рабства.

10

Сейдер (на иврите означает «порядок») — празднование Песаха по определенному ритуалу.

11

Еврейский Новый год.

12

Тихий респектабельный пригород Бруклина.

13

Микстура от простуды и гриппа. Оказывает успокоительное действие. — *Примеч. ред.*

14

Выражение, означающее «Остановись и вспомни о прекрасном!».

15

Евангелие от Матфея, 16:26.

16

Популярный афроамериканский спиричуэл.

17

Знаменитый христианский гимн, написанный в XVIII веке на слова Джона Ньютона.

18

Популярный бродвейский мюзикл по мотивам рассказов еврейского писателя Шолом-Алейхема.

19

Район Гармент, или «Район мод», расположен на Манхэттене и считается центром американской и мировой моды.

20

В названиях обеих постановок заимствованы названия известных английских рождественских гимнов.

21

Дрейдл — волчок и название популярной детской игры, в которую обычно играют во время праздника Хануки.

22

Футбольная команда Детройта.

23

Смоуки Робинсон — известный американский певец, сочинитель песен и продюсер. В автобиографии он утверждал, что избавился от наркомании после того, как за него помолился его пастор, и приписывал свое и излечение исключительно Богу.

24

Амиши — религиозное течение, одно из разновидностей христианства. Последователи этой религии отказываются от технических средств и стараются следовать старинному укладу жизни. Большинство амишей — очень состоятельные люди.

25

Игра за звание чемпиона национальной футбольной лиги США.

26

«Иди и наслаждайся!» — слова и музыка Карла Сигмана и Хэрба Магидсона.

27

Кашрут — дозволенность, пригодность чего-либо с точки зрения иудейского права.